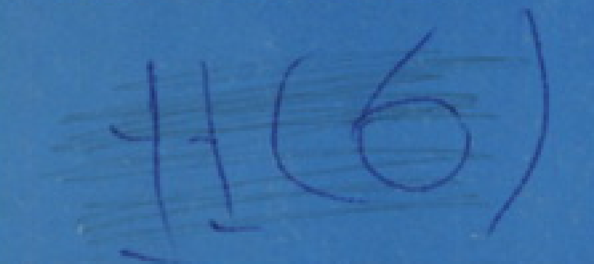
ISSN 0131—5994

РОВЕСНИК

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК ЦК ВЛКСМ И КОМИТЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СССР
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1962 ГОДА
№ 12/84
Декабрь

В НОМЕРЕ:



Традиционные весенние марши мира, «бурное лето», «жаркая осень» — ни на день не затихает борьба антивоенных сил Западной Европы против превращения своих стран в стартовую площадку для новых американских ракет первого удара, за провозглашение континента зоной, свободной от ядерного оружия. И молодежь, совсем неравнодушная к тому, что ждет ее в будущем, в первых рядах борцов с угрозой войны. Этот снимок антивоенной демонстрации в Гамбурге сделал для «Ровесника» чехословацкий репортер Мирослав ЗАЯЦ.



ВЕНА. 1959



VII Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в Вене с 26 июля по 4 августа 1959 года. 18 тысяч юношей и девушек представляли 112 стран. Лозунг фестиваля: «За мир и дружбу!»

«Современный мир с его расколом, с его важными нерешенными проблемами, гонкой атомного вооружения не может не внушать нам глубокого беспокойства. Но взаимопонимание и стремление к согласию сильнее раскола; мир сильнее войны.

Мир и согласие живут и развиваются благодаря дружбе. Седьмой фестиваль послужил их укреплению. Будем двигаться вперед и развивать повсюду нашу дружбу! Пусть узнают об этом наши правительства! Подтвердим еще раз наше стремление к жизни, братству и миру!»

Из Заявления Международного комитета VII Всемирного фестиваля молодежи и студентов «За мир и дружбу!»

ШАГИ

ХРОНИКА ВЕНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

● К группе советских делегатов подходит пожилой человек. На нем рабочий комбинезон, шапочка с зеленым козырьком от солнца.

— Русские? Нет ли здесь кого-нибудь из Москвы? Не знаете ли вы Сидорова? Он разминировал наш дом в 1945 году. Я хочу передать ему привет.

К сожалению, делегаты не знают Сидорова. Венец извиняется, что не может поговорить с гостями, и смотрит на часы: кончается обеденный перерыв.

Советские журналисты живут в небольшой гостинице «Пум туркен» в одном из самых аристократических районов Вены. Трудно сказать, помнят ли жители этого квартала о советских солдатах, разминировавших их дома. Впрочем, если они изредка приходят выпить чашку кофе в маленький ресторанчик отеля, летом переселяющегося на улицу, они сразу их вспомнят — на фасаде дома по Петер-Иорданштрассе видна надпись по-русски: «Проверено. Мин нет».

● «Для африканской молодежи фестиваль в Вене имеет историческое значение,— сказал представитель молодого поколения Африки на митинге солидарности с молодежью колониальных и развивающихся стран.— Мы воочию убедились, что молодежь всего мира поддерживает нас в нашей борьбе». В год Венского фестиваля вся Африка была охвачена пламенем антиколониальной борьбы, следующий — 1960 год — был назван Годом Африки. Молодежь континента, сбрасывавшая с себя иго колониализма, вступала в международное молодежное движение.

● В Вене уже зажглись вечерние огни, когда на площади у Бургтеатра и на прилегающих к ней улицах зазвучали «Катюша», аргентинские, африканские, чешские, румынские песни. Тысячи стягов, транспарантов, на которых надписи, волнующие всех: «Мир», «Спутник», «СССР», «Дружба». Движение в центре города было перекрыто, остановились автобусы, трамваи, машины. Все улицы запружены народом. Перекатывается над рядами делегатов фестиваля и австрийцев такое близкое людям всех стран слово «мир». Колонны делегатов с разных концов вливаются на площадь Героев. На грандиозный митинг в защиту мира.

Торжество закончилось за полночь, когда на эстраду, украшенную флагами и рисунком Пабло Пикассо, вышел в лучах прожекторов Поль Робсон и вместе с тысячами людей исполнил песню о мире.

● На встрече делегатов из советских Среднеазиатских республик с представителями молодежи Лаоса, Камбоджи (Кампучии), Бирмы и Цейлона (Шри Ланки) советские юноши и девушки преподнесли своим гостям вышитые таджикские тюбетейки, шелковые узбекские платки, маленькие ахалтекинские коврики, вытканные прославленными туркменскими мастерицами. Цейлонцы же преподнесли четырех точенных из дерева слонов — символ благополучия и счастья; лаосцы — корзинку, сплетенную из тростника, и серебряную пепельницу тонкой граверной работы... А делегат Бирмы вышел на середину зала, развел руками и сказал:

— Делегация наша небольшая и небогатая. У нас нет ничего, что мы могли бы подарить вам. В память о нашей встрече и о нашей родине мы дарим вам наши сердца, которые всегда будут с вами, наше искреннее доброе слово вам, людям прекрасной Советской страны.

● Важнейшее событие фестиваля — стотысячная манифестация на центральной площади столицы Австрии. Поезда и автобусы доставили в Вену тысячи австрийцев из других городов. Делегаты фестиваля, венцы, приехавшие из других городов австрийцы продемонстрировали свое стремление к миру, дружбе между народами, мирному сосуществованию государств.

СЛОВО К МОЛОДЕЖИ МИРА

Бруно КРАЙСКИЙ, политический и общественный деятель Австрии. «Мы должны приложить все усилия, чтобы избежать войны. Мы должны сосуществовать, но одновременно и соревноваться друг с другом. Нужно прежде всего разрушить политическое недопонимание и недоверие между народами, и тогда недопонимание среди молодежи исчезнет само собой».

Сайрус ИТОН, промышленник и финансист (США). «Нет никакого сомнения в том, что любые намерения, которые имеют целью содействовать встречам молодежи различных стран и обсуждению общих проблем, являются вкладом в дело международного взаимопонимания и мира. Мне хочется пожелать вам самого большого успеха в этом деле».

Филипп ЖЕРАР, французский композитор. «Я присутствовал на фестивалях в Варшаве и Москве. Поехать на фестиваль — значит совершить огромное путешествие, которое даст возможность познакомиться со всеми народами Земли и различными веяниями, существующими в мире. Фестивали были для меня школой, которую мне не смогут заменить годы работы. Неоценимо то богатство, которое дают человеку личные контакты на фестивале, и ничто не может их заменить. Вот почему теперь все ожидают фестиваль с таким энтузиазмом».

Валентин КАТАЕВ, советский писатель. «Множество самых разных понятий включает в себя одно слово «фестиваль». Фестиваль — это единение молодежи всех стран, это дружба молодежи, ее стремление отстоять мир на земле. Уже не в первый раз являемся мы, люди старшего поколения, свидетелями грандиозных встреч молодежи — встреч, которые наполняют наши сердца гордостью и уверенностью в том, что будущее планеты, спокойствие и счастье народов в надежных руках. Вот и сейчас мне хочется присоединить свой голос к голосам тех, кто приветствует юношей и девушек в их благородном стремлении к единству и дружбе».

ФЕСТИВАЛЯ



РЕПОРТАЖ ИЗ МАУТХАУЗЕНА

Холмы, покрытые ельником, Дунай, причудливые скалы... И в самом красивом месте, в 180 километрах от Вены, встал страшный памятник прошлого — Маутхаузен — место, где был фашистский концентрационный лагерь. В скорбном молчании подходили делегаты фестиваля к воротам, рядом с которыми висит доска со страшными цифрами. 32 тысячи советских граждан погибли в Маутхаузене, 30 тысяч поляков сожжены в его печах, 12 тысяч сынов Венгрии погребены здесь... Длинен этот список. Французы и югославы, чехи и итальянцы, испанцы и немецкие антифашисты были уничтожены в Маутхаузене. Представители пяти континентов посадили на площади перед входом в лагерь деревца. Они будут расти здесь как символ единства, как клятва делу мира. «Никогда больше не быть Маутхаузену, Освенциму, Дахау и Бухенвальду!» Эти слова повторили все делегаты фестиваля, собравшиеся в Маутхаузене. Н а с н и м к е — советская делегация возлагает цветы к памятнику жертвам фашизма в концлагере Маутхаузен.



МОСКВА. 1985

ВАРШАВА. В Польской Народной Республике проведен общенациональный молодежный субботник, в котором приняли участие десятки тысяч молодых поляков. Заработанные деньги внесены в Фонд XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

ВЕНА. Выступая на традиционном празднике газеты «Фолькcштимме», Вольфганг Райнер, председатель Коммунистической молодежи Австрии, заявил: «Австрийская молодежь за фестиваль! Об этом свидетельствует число молодежных организаций, выразивших желание поехать в Москву,— 30!»

НЬЮ-ЙОРК. В Национальный подготовительный комитет США XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов поступают многочисленные заявления от лидеров молодежных движений, выступающих за мир, профсоюзов, организаций, борющихся за гражданские права, от известных деятелей культуры, спортсменов с поддержкой XII Всемирного.

БРАЗИЛИЯ. Бразильские девушки и юноши с энтузиазмом готовятся к XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве, заявил координатор Бразильского комитета по проведению Международного года молодежи Джеймс Луис. Состав делегации будет определен в ходе национального форума молодежи.

СИДНЕЙ. Газета социалистической партии Австралии «Соушелист» ввела на своих страницах постоянную рубрику, посвященную подготовке австралийской молодежи к XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве.



«ХОЧУ ДОЖИТЬ ДО ЭТОГО САМОГО БУДУЩЕГО»

Несколько интервью, взятых в Новороссийском интерклубе моряков



Владимир ЯКОВЕНКО, руководитель Новороссийского интерклуба моряков. «Скажу сразу, работа у нас интересная и ответственная. Постоянно знакомишься с новыми людьми со всех уголков земного шара. А ответственная потому, что за тот короткий срок, пока судно стоит в порту, хочется, чтобы иностранные моряки побольше узнали о жизни такой огромной страны, как наша.

Моряки уходят и приходят. Такая морская жизнь. Мы делаем все, чтобы от нас они уходили друзьями. Это маленький вклад нашего интерклуба в дело большого мира на Земле».

Херете НИБЕРГ *(Дания)*. «Чего я жду от будущего? Не знаю. Знаю только, что не хочу ничего необыкновенного. Как каждая женщина, я хочу иметь свою семью, детей. У нас в Дании сейчас очень низкая рождаемость. Нация стареет. О чем это говорит? Люди не хотят иметь детей. Что может быть ужасней? А знаете почему? Страшно. Не за себя, за них. Это такие маленькие беззащитные существа, и что их ждет— безработица, война. Как подумаю об американских ракетах, которые все везут и везут к нам в Европу, становится не по себе. Они говорят, что это забота о нас, обо мне, в частности. Но я их об этом не просила. Если будет война, то у меня, да и у всех, никакого будущего не будет. Вообще. Я тогда не встречу в жизни человека, которого надеюсь встретить. Каким он будет? Не знаю. Только бы он имел работу. Самое страшное в жизни—это остаться без работы. Страшнее этого ничего нет. Сейчас у меня есть работа, и я довольна. Я работаю радисткой на сухогрузе «Марилена». Все говорят, морская жизнь не для женщин. Все удивляются, почему я не живу дома. Я бы с удовольствием сидела дома, если бы смогла найти работу. Я сама из Копенгагена. Мне хочется не мотаться по свету, дома все равно лучше. Я люблю мой город, город Андерсена. У нас сейчас его сказки почти не читают. Их заменили комиксы и американские фильмы. В детстве я очень любила Андерсена за доброту. Такой доброты, как в его сказках, в жизни я не встречала. А американские фильмы, которые смотрят сейчас дети, пропитаны жестокостью. А может быть, так и надо? Приучать детей к жестокости, чтобы им потом в жизни было легче? Думаю, это неправда. Жестокость мешает жить себе тоже».

Тони БАЛЛЕСТЕРОС *(Филиппины)*. «Я остался без образования, не до него мне было. У нас в семье, кроме меня,



еще четыре брата и четыре сестры. Я старший. Мои родители простые крестьяне, всю жизнь выращивают рис, как их родители, как деды. Я очень хотел учиться. А пришлось с детства зарабатывать на жизнь, тянуть младших братьев и сестер. Так я и оказался в море. Здесь можно заработать. А какой из меня моряк. Я кок. С одной стороны, самый незаметный человек на судне, а с другой, может, и самый главный. Что они все будут делать, если в плавании со мной что-нибудь случится? Я иногда думаю, не дай бог со мной что-нибудь случится. Как там будут мои без моих денег? А жизнь такая штука, что в любой момент может что-нибудь случиться. Нам, морякам, хорошо известно, что если где-то война, то это может коснуться всех. Сейчас очень опасно плавать и в районах Персидского залива, и на Ближнем Востоке. Я уже не говорю про Никарагуа. Какая это подлость, минировать порты. Я слышал о судах, которые подорвались там на минах, и о вашем советском танкере. Я не знаю, с чем эту подлость сравнить. Это как если ты идешь по улице, а тебе вдруг кто-то стреляет в затылок. Когда плаваешь по всему миру, понимаешь, земной шар не такой уж большой. Все люди на Земле живут рядом, по соседству. А соседи должны жить друг с другом по-доброму. Знакомишься с иностранными моряками или просто с людьми из других стран и понимаешь, что, собственно, никакой такой уж разницы между нациями нет. У всех людей одни и те же проблемы, одни и те же желания. Кому, например, не хочется жениться на красивой девушке? А вот на богатой я не хочу жениться. Почему? Потому что у них свой мир, у нас свой. Ее родители спросят меня: «Кто ты?» А что я им отвечу, что я кок на судне? Смешно. Зачем мне это надо?»

Вангелис ДИМОПУЛУС *(Греция)*. «Сначала — чего я не хочу. Войны. Сейчас на Западе так много говорят о будущей войне, что поневоле привыкаешь к мысли о ней. Это страшно. Так не должно быть. И еще. Когда все время говорят об ужасах термоядерной катастрофы, война, которая ведется обычными средствами, становится уже чуть ли не «гуманной». Это еще страшнее. Если глобальная мировая война сдерживается ужасом перед последствиями, то маленькие, локальные войны становятся чуть ли не нормальным, «неопасным» явлением. Война — это всегда ненормально. Мы живем в такое время, когда «маленькая» война в любой момент может перерасти в «большую». Почему так происходит: умирать никто не хочет, а войны не прекращаются? Значит, есть люди, которым нужно, чтобы была война. Для них война — это бизнес. Они производят оружие, танки, ракеты, мины. Но если нет войны, оружие некуда сбывать. А это означает убытки. То же самое с ракетами в Европе. Чтобы ракеты покупали, необходимо создать в них необходимость. А для этого надо внушить людям, что им угрожают. И вот американские ракеты размещаются в Западной Европе. У меня есть дочка, ей четвертый год. Мы с женой назвали ее Афина. Это очень красивое имя. Она и сама у нас растет красавицей. Сейчас мы ждем еще одного ребенка. Мы живем в Лимунусе, это большой греческий порт. От будущего я жду, что мы все так и будем жить в нашем доме в Лимунусе, что у нас будут радости и огорчения, как в любой семье, но только чтобы моя Афина и мой сын, а я надеюсь, что родится мальчик, никогда не узнали бы, что такое война».

Аниэлло ЛУБРАНО *(Италия)*. «Я скажу, чего я жду от моего будущего. Только боюсь, вашей молодежи будет непонятно, о чем это я говорю. Прежде всего я жду от будущего постоянного места работы. Я много знаю о Советском Союзе, знаю, что для ваших парней и девушек это не проблема. А для нас, молодых итальянцев, в этом — все. Вообще все. Если у меня есть работа, значит, я могу жениться, значит, я могу купить квартиру. Если у меня будет работа, значит, я смогу дать образование детям. А без работы я ничто, меня нет, я ноль. Сейчас я плаваю мотористом. Только вы не подумайте, что я люблю море. Я море ненавижу. Удивительно, да? Моряк, а не любит море. Как же так жить? А вот так и живу. Стараюсь накопить денег, чтобы навсегда уйти на берег. Я живу в маленьком городке на юге Италии. Вы, наверно, никогда о таком и не слыхали, Монде ди Прогида. Это недалеко от Неаполя. Получить работу на берегу практически невозможно. Вот и получается, что традиционно 90 процентов мужчин нашего городка ходят в море. Чего еще я хочу от будущего? Хочу дожить до этого самого будущего. Да-да, я хочу дожить до старости. Наверно, странно слышать такое от молодого парня. Как же об этом не думать, если каждый день в газетах и по телевидению сообщения об убийствах, похищениях, взрывах бомб, перестрелках на улицах, грабежах. В Италии стало страшно жить. В этой стране правят террористы и мафия, а правительство и полиция ничего не могут сделать. Так вот, я жду от будущего, что я его увижу. Жду, что буду жить себе спокойно в моей Южной Италии».

Вичо ГОСПОДИНОВ *(Болгария)*. «Чего еще можно ждать от будущего? Конечно, счастья. Я молодой, сильный, у меня красивая жена, Бойка. Растет сынишка, Дима, ему уже два годика. Я ничего в моем будущем не боюсь. Я без моря жизни себе не представляю. Если живешь в портовом городе и с детства слышишь рассказы о море, поневоле им заболеешь. Но это хорошая болезнь, здоровая. Интересно, кем мой Димка станет, когда вырастет? Конечно, мне хотелось бы, чтобы он продолжил профессию отца. Но влиять на него в этом смысле не буду. Вырастет, сам скажет, чего в этой жизни хочет. Люди, мне кажется, делятся на две части. Одна из них, бóльшая, это и великие ученые, и простые люди, рабочие, крестьяне, моряки. Те, кто растит хлеб, кофе, хлопок, кто шьет одежду, кто делает машины, кто лечит людей. Это все те, кто, каждый по отдельности делая свой труд, все вместе совершают гигантскую работу — жизнь. Без их ежедневного труда не было бы ни великих открытий, ни технических изобретений, ни самой жизни. А вторая группа — это те, кто не дает им жить, кто размещает в Европе ракеты, кто минирует в Никарагуа порты, кто расстреливает с линкоров беззащитные кварталы в Бейруте, кто не дает строить новую жизнь в Афганистане, кто установил в Чили фашизм. Они тянут назад мир. Но ничего у них не получится, ни сейчас, ни в будущем. Нет у них будущего. Оно — наше!»

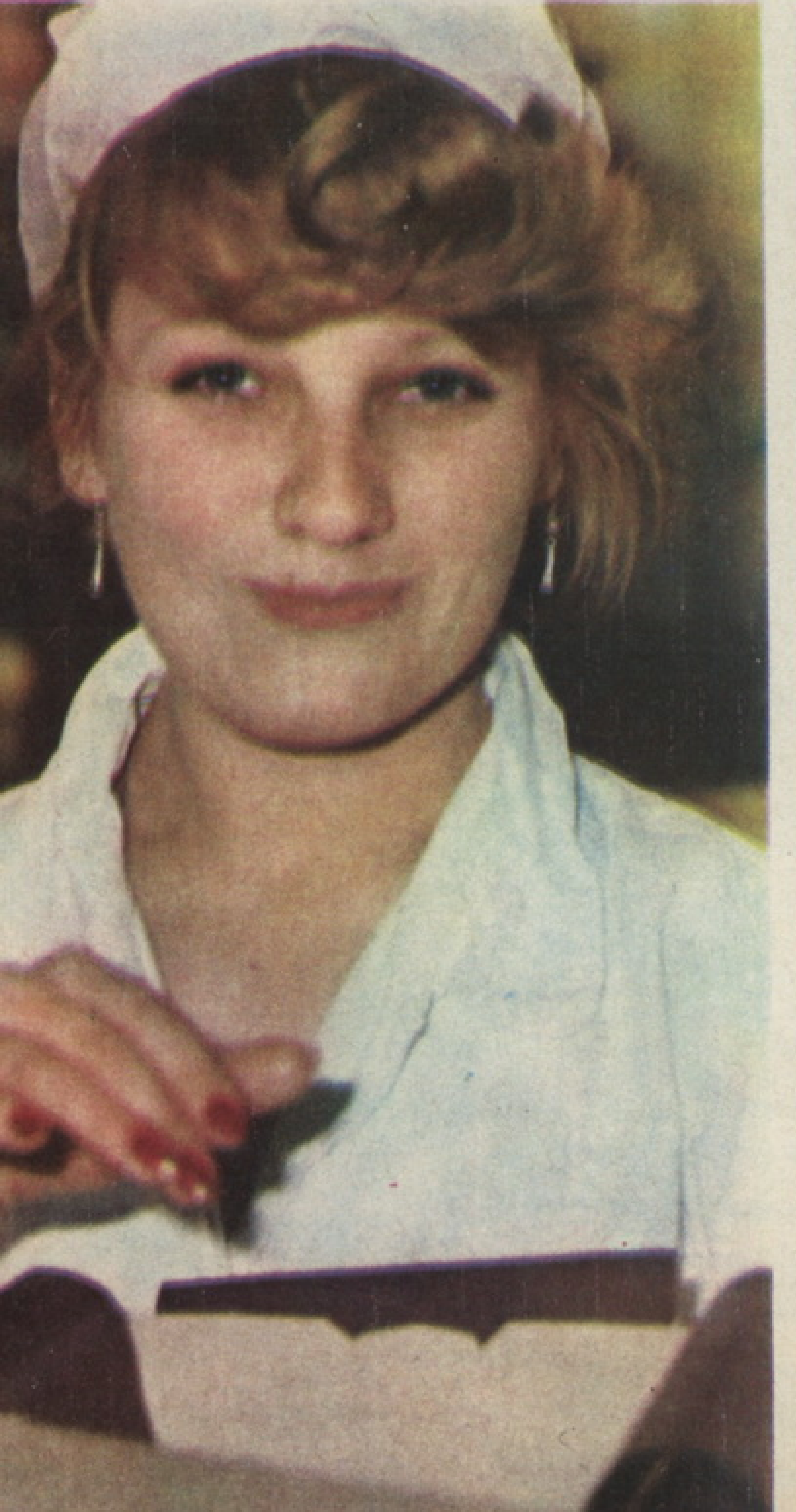
Записал М. ШИШКИН



СМОТРИТЕ!

40 лет назад Польша была освобождена от гитлеровской оккупации. Возникшее на польской земле государство людей труда высказалось за социализм и стало прочным звеном в содружестве социалистических стран, которые оказывают народной Польше товарищескую помощь в дни трудовых будней и приходят на выручку в час испытаний, спровоцированных империализмом. Молодому поколению поляков, родившихся и выросших в социалистическом обществе, гарантированы сегодня социально-экономические, политические, личные права и свободы, оно живет в атмосфере творческого труда на благо своего народа и страны.

На снимках, предоставленных редакции «Ровесника» посольством ПНР в Москве, молодежь сегодняшней Польши — нашего соседа, союзника и друга.









В ЯСНОЙ

Из-за яркого солнца мне показалось, что сегодня уже не так холодно, но очень скоро я поняла, что мороз даже крепче вчерашнего. Снова в автомобиле, снова на белой русской дороге, широкой и бесконечной, на «магистрали», как говорят русские военные.

Я первая из иностранцев побывала в Туле после начала наступления советских войск. Дорогóй русскому сердцу город с героическим прошлым, Тула не сдалась ни Наполеону, ни Деникину, ни Гитлеру. Осада города — один из самых поразительных на нынешний день эпизодов этой войны. А для меня — яркая демонстрация, я бы сказала, действенности героизма: защитники города в течение месяца и семнадцати дней отражали натиск германской армии, воюя в условиях, которые многие военные специалисты определили бы как безнадежные. И все же город и его триста пятьдесят тысяч жителей были спасены, огромный центр военной промышленности продолжал работать, жизненно важные коммуникации остались в строю и действовали.

Неподалеку от Тулы есть другое чтимое советскими, да и всеми прогрессивными людьми место — Ясная Поляна, усадьба Льва Толстого, где он долгое время жил и работал. Усадьба была захвачена фашистами, разрушена и вновь отвоевана Советской Армией.

В Ясную Поляну я еду вместе с Софьей Андреевной Толстой, внучкой Льва Толстого, ведающей всеми музеями писателя в России, профессором Минцем, назначенным начальником восстановительных работ в Ясной Поляне, молодой девушкой, секретарем Минца, и лейтенантом Любой, моим офи-



ПОЛЯНЕ

**Ева КЮРИ,
французская журналистка**

циальным сопровождающим. Мы сидим в огромном архаичном лимузине, который ведет очень старый шофер, он постоянно ворчит и настроен пессимистически. Тяжелая машина нехотя трогает и катит по скользкой дороге, буксуя и кашляя по поводу и без повода. Безумно холодно, и несколько раз мы останавливаемся среди заснеженных плоских полей и разбросанных рощ и бегаем вокруг машины, возвращая к жизни окоченевшие ноги.

Странная группка людей: француженка в брюках и каракулевой шубе, изъясняющаяся на польском, русском, английском и французском, старый профессор с вытянутым умным и добрым лицом, Люба в военной форме и овечьем полушубке, не выпускающая из рук аккуратный сверток с бутербродами, которые готовила для нас всю прошлую ночь, простая, с чувством собственного достоинства женщина Софья Андреевна, официальная хранительница памяти о Толстом в нынешней России. А это значит немало, ибо ни одного из писателей не читают так широко, ни одного из писателей не чтят столь глубоко, как Льва Толстого в Советском Союзе.

Я сижу на заднем сиденье рядом с Софьей Андреевной. Нас почти не видно из-под шуб и одеял, но мы все равно дрожим от холода. Наш разговор почти интимный, мы говорим о людях, что дороги каждой из нас. Софья Андреевна рассказывает о жизни Льва Толстого, я — о своей маме. Очень скоро обнаружилось, что, хотя великий писатель и великий ученый ни разу не встречались и не было людей более разных по характеру, привычкам, вкусам и мировоззрению, их отношение к жизни было очень схожим: и Мари Кюри и Льва Толстого постоянно мучило чувство личной вины за социальную несправедливость, в то время как большинство их современников считали, что все в порядке вещей. Толстой учил деревенских детей в школе Ясной Поляны; Мари Кюри-Складовска в молодости также основала школу для детей одной из польских деревушек. Толстой придавал огромное значение физическому труду, Кюри тоже. Он стыдился богатства, и она, всю жизнь прожившая в бедности, не захотела делать состояния на своем великом научном открытии (имеется в виду радиоактивность.—Р.). Толстой отказался от авторских гонораров, и Кюри отказалась брать патенты на свои открытия.

Мы едем мимо уличных баррикад и окопов передовых линий обороны. Далее разрушенные угольные шахты. И вот знакомая мрачная картина — сожженные дома. Еще дома. Потом поля и деревья. Автомобиль свернул с шоссе на проселочную дорогу, взобрался на вершину холма, откуда открылся впечатляющий пейзаж — снег, деревья и снова снег. Вдруг Софья Андреевна тихо произнесла:

— Ясная Поляна. Вон там, по ту сторону поля. Видите! Парк и сад. Оттуда начинается усадьба.

У меня масса времени разглядеть все как следует: автомобиль остановился, между шофером и пассажирами разгорелся спор. Наконец я поняла, шофер не может ехать дальше: снег очень глубок. «Даже если мы и доберемся до Ясной Поляны,— сказал он,— на обратном пути не сможем преодолеть крутой подъем и застрянем на полпути». Он поставил автомобиль у края дороги и заявил, что будет ждать здесь, пока мы осмотрим усадьбу.

Ноги увязали в снегу, мы проваливались почти по пояс. Я подумала, что шофер, по-видимому, прав. Едва мы миновали первые деревья, как перед на-

---

Из книги Евы Кюри «Путешествие среди воюющих».

ми открылась вся Ясная Поляна: усадьба, слева деревня, над ней доминирует квадратное строение школы имени Льва Толстого. Здание выглядит зловеще: пустые глазницы окон, стены, черные от пожара. Поодаль сгоревшая больница и сгоревший дом для престарелых.

Меня вдруг захлестывает ярость на нацистских завоевателей. Я не понимаю, зачем им нужно регулярно и систематически все разрушать. Бывая на освобожденных территориях, повсюду я видела пепелища. Зачем сжигать, всегда, всегда сжигать? Зачем? Отчего это безумие — уничтожать все созданное человеком? Разрушить подобное место?!

Неожиданно я понимаю, что термин «политика выжженной земли» употребляется союзниками (по антигитлеровской коалиции.—Р.) неправомерно. Мы уверовали, что, отступая, части Красной Армии оставляют лишь голую землю. Это, конечно, не так. Русские никогда не уничтожают дома, в которых остались люди: в убийственно холодную зиму это означало бы смерть. Действительно, инженеры Красной Армии с огромным мужеством и самопожертвованием разрушали мосты, железные дороги, фабрики, склады — все, чем может воспользоваться враг. Они шли на осмысленные, необходимые в войне разрушения, подавляя в себе чувства.

«Политику выжженной земли» во всем ее ужасе и варварстве проводит гитлеровская армия — не советская. Разрушение ради разрушения, уничтоженное ими не имеет никакого отношения к исходу военных действий. Бесчеловечная цель — не оставлять камня на камне, ни единой семьи, у которой было бы жилье, ни единой крыши над головой.

Среди всех гитлеровских актов разрушения то, что случилось с Ясной Поляной, вызвало, может быть, самое широкое возмущение по всей России. Память о Толстом чрезвычайно дорога советским людям, они чтят его не только как писателя, но и как человека, который при царском режиме был другом крестьян и притесняемых. Почти всякий раз, когда я спрашивала русского солдата, или офицера, или рабочего завода, или домохозяйку в магазине, что мне следовало бы посетить в Советском Союзе, одним из советов было: «Поезжайте в Ясную Поляну и, когда вернетесь в Англию или США, расскажите всем, как поступили фашисты с домом Льва Толстого».

По мере того как мы идем по узкой проселочной дороге, мороз становится все злее. Нам повстречалась группа крестьянок, и одна из них, увидев меня, вдруг громко запричитала. Люба посмотрела на мое лицо и тоже закричала. Теперь кричали все, кроме меня. Оказалось, что я обморозила нос, и он совсем побелел. «Это очень серьезно. Потрите нос шерстью и снегом, пока не покраснеет и не станет больно»,— сказала Люба, явно обеспокоенная, чувствуя себя виноватой. Я терла и терла, нос покраснел, стало больно, никто уже не кричал, крестьянки потеряли ко мне интерес и пошли дальше, из чего я заключила, что опасность миновала.

Наконец мы оказались у ворот в парк. На одной из двух невысоких белых колонн нацисты вырезали свастику. К дому вела еловая аллея, снег искрился на темных ветвях и на полянках вокруг. На мгновение я забыла о войне, ужасе и просто наслаждалась, очарованная усадьбой. Многие годы изысканный и мирный уголок — именно в таком месте потомственный аристократ и гениальный писатель мог жить и работать, подумала я. Здесь у него было самое незаменимое из роскоши: природа, простая и величественная, уединение, тишина. И время — долгие тихие дни, долгие монотонные месяцы, так необходимые художнику для кропотливой работы.

Нас встретили высокий бородатый человек в косоворотке и в валенках, хранитель музея, и его сестра, эмоциональная женщина лет пятидесяти. Она и Софья Андреевна по-русски расцеловались. Через черный ход мы вошли в дом и оказались в голом и страшно холодном зальчике. Мне объяснили, что за две недели до прихода немцев бо́льшую часть книг, рукописей, картин и мебели Толстого эвакуировали в Сибирь, остальное было собрано в одной комнате. С двери еще не стерта надпись: «Beschlagnahmt für Obercommando der Wehrmacht» («Конфисковано в пользу вермахта»). Вокруг пустые рамы некоторых эвакуированных картин и два рояля, те самые, на которых для Толстого играл пианист Гольденвейзер и другие известные музыканты.

Я зашла в комнату, где была написана «Анна Каренина», сейчас абсолютно пустое помещение. Сорок пять дней, покуда нацисты оккупировали здание, здесь была офицерская столовая. Я побывала в том удивительном кабинете со сводчатым потолком, где Толстой работал над «Войной и миром». Потом поднялась наверх, где расположены спальни и маленькая библиотека. Выбитые стекла, дыры забиты соломой. В полах — в библиотеке, в комнате Толстого и в комнате его жены — черные дыры и вокруг — обуглившиеся поленья. Здесь фашисты разжигали костры.

Это случилось четырнадцатого декабря, рассказывала сестра хранителя музея, когда гитлеровцы бежали из усадьбы. Рано утром в Ясной Поляне — в деревне и в самой усадьбе — начались пожары. Первой загорелась школа, потом учительский дом, потом больница и, наконец, дом Толстого. Три фашиста на автомобиле объезжали дома, поджигая все на своем пути. Противопожарное оборудование музея было уничтожено фашистскими солдатами заранее. Но дом Толстого все же удалось спасти благодаря отчаянным усилиям пяти служащих музея.

— Уходя навсегда, гитлеровцы заявили, что дом заминирован,— рассказывали мне хранитель музея и его сестра.— Но мы не испугались, и едва они ушли, с двумя огнетушителями, которые нам удалось припрятать, кинулись тушить пожар. Мы черпали воду из колодца, откопав его из-под снега. Это драгоценное здание удалось спасти. Когда мы сбили пламя, во двор въехала армейская машина, а в ней четыре фашиста. Раньше мы их здесь не видели. Мы подумали, что они приехали поджечь дом, но они, по-видимому, знать не знали, чей это дом. Наверное, это были заблудившиеся офицеры, которые искали своих. Вечером в Ясную Поляну вступили первые части Красной Армии. Старший офицер сразу поставил почетный караул в парке у могилы Льва Толстого.

Начиная с этого времени Ясную Поляну очищают от следов оккупантов — беспорядок, грязь, кругом битые бутылки и стаканы, к двери комнаты Софьи Андреевны Толстой прибита табличка «Казино», по вечерам офицеры вермахта играли здесь в карты. Своих убитых нацисты сочли необходимым захоронить под древними деревьями парка. Рядом с могилой Льва Толстого, едва заметной под снегом, были вкопаны доски с именами восьмидесяти трех нацистов. Служащие музея и солдаты Красной Армии выкопали трупы германских солдат и перевезли их в другое место захоронения.

Кожаная книга записей посетителей музея. Я медленно листаю ее страницы: сотни имен мирных советских людей, имена офицеров и солдат Красной Армии, даты первых месяцев войны. Вдруг с чистой страницы запись: «Мы германские солдаты, участники русской кампании. 30.10.41». Затем огромными буквами: «Wir sind von grösser Deutschland» («Мы из Великой Германии»).

Но вот страницы, где снова записи солдат и офицеров Красной Армии, освобождавших Ясную Поляну. Увидев, как варварски захватчики отнеслись к этому историческому месту, они пишут длинные страстные строки, в них — преклонение перед Толстым, негодование на врага, некоторые клянутся: «Мы уничтожим германский фашизм!»

В одном из своих ранних произведений Толстой приносит дань уважения солдатам России и тому, как они воюют. На память приходят эти строки: «Из-за креста, из-за названия, из-за угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого,— любовь к родине».

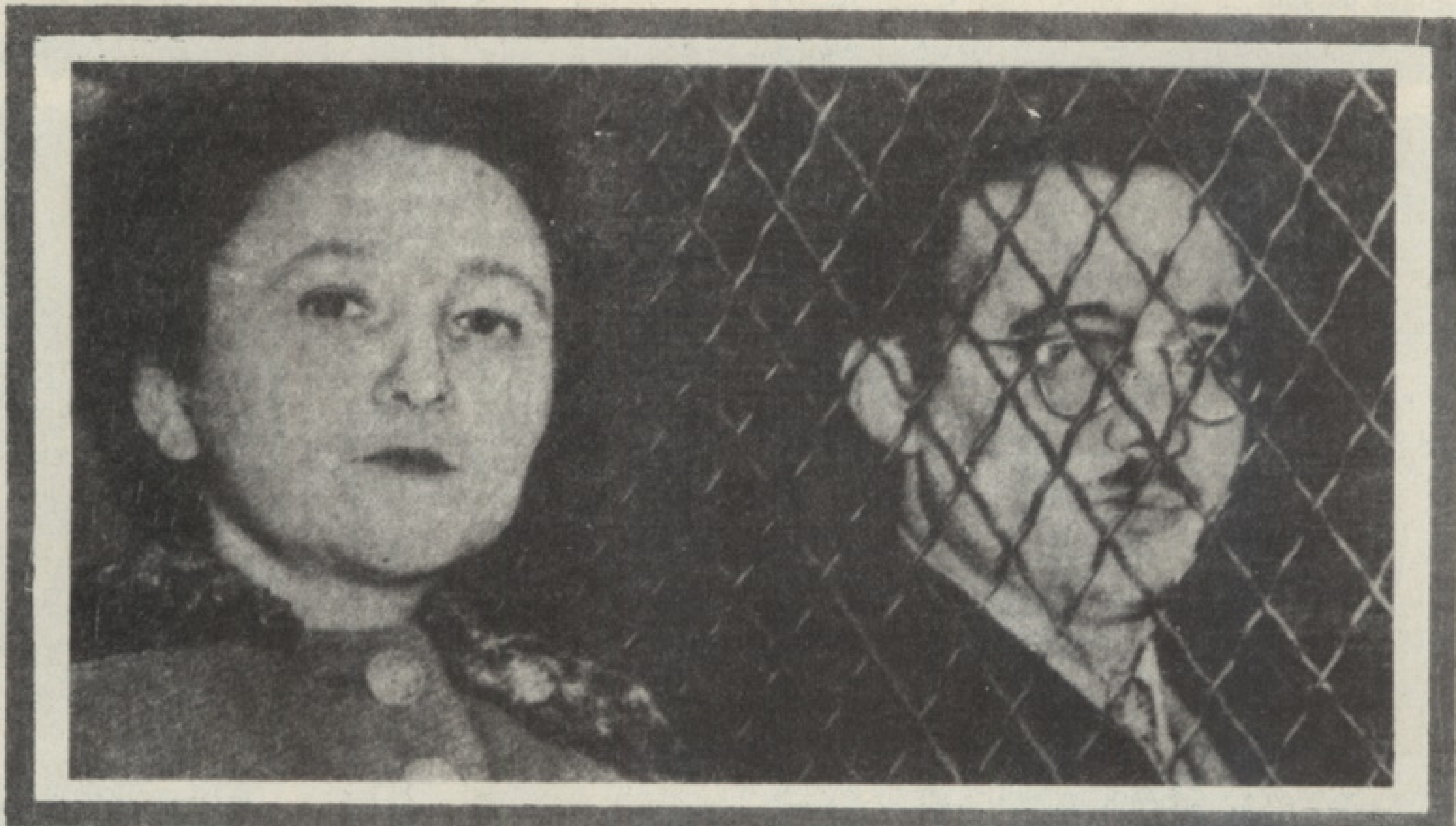
Я и Софья Андреевна гуляем по парку — высокие, мощные, буйные деревья. Словно в лесу. Вполголоса Софья Андреевна рассказывает о каждой аллее, каждом строении: «Здесь в детстве Толстой играл с братом Николаем... из этой конюшни он взял лошадь, когда в последний раз покинул усадьбу... В этом здании была прогрессивная школа для крестьянских детей. Фашисты устроили в ней лазарет».

Одна из безмолвных аллей привела нас к могиле Толстого. Отсюда мы вернулись в старый домик, где временно поселились хранитель музея и его сестра. Нас тотчас же пригласили к столу. Мы очень замерзли и с радостью согласились. К встрече иностранки не готовились заранее: о нашем приезде никого не предупредили. Хозяйка выложила на стол все, что было в доме, и угощала со всей русской теплосердечностью: чай, хлеб, несколько вареных картофелин и несколько соленых огурцов. Мы сидели в маленькой, хорошо протопленной комнате, и хозяйка рассказывала, как они жили при фашистах.

Снова еловая аллея. Мы выходим из ворот и идем по тропинке мимо руин школы. Я постояла под обгоревшим остовом крыши среди черных обвалившихся кирпичей. Эта школа была прекрасным зданием, сюда приходили учиться дети из нескольких деревень. Случившееся со школой действительно привело бы Толстого в отчаяние. Будь Толстой жив, думаю, он не стал бы особо горевать, сожги фашисты его усадьбу — он, конечно, любил этот дом и все же несколько раз пытался уйти из него, стыдясь образа жизни богатого человека. Но жестокость гитлеровцев по отношению к деревне, школе, детям, простым людям Толстой не смог бы простить.

Перевел с французского
В. ГАВРИЛОВ





МЫ ВАШИ СЫНОВЬЯ

*Из книги детей супругов Розенберг
Майкла и Роберта Мееропалей*

19 марта 1953 года

«Дорогая, любимая,

я по-прежнему полон любовью к тебе, милая Этель (так было, голубка, так и будет). Вокруг весна, и все, кажется, в согласии меж собой, учащается пульс, очищается душа, и славное чувство молодости зовет к новым свершениям. В сущности, энергия молодости и проявляется всегда как стремление к будущему.

Уже во всем мире понимают истинную сущность судилища над нами, и люди, самая могучая сила Земли, за нас, они знают — за мир и свободу нужно бороться. Что касается политического смысла дела, правительство своим варварским смертным приговором за прогрессивные взгляды двум невиновным людям показало свое истинное лицо. Размах кампании за наше освобождение уже достиг той стадии, когда люди начинают понимать и подлинное значение устроенного над нами судилища. Потому мой моральный дух чрезвычайно высок, моя глубочайшая любовь с ним в гармонии, но страдает в поисках выхода. Без сомнения, мы испытываем огромное удовлетворение, что полностью сохранили высокий моральный дух и верность нашим этическим принципам, но пока мы не вместе с детьми, пока мы не дома, мы не можем чувствовать удовлетворения.

Милая, вот уже три года, как мы в разлуке с ними. Робби исполнится шесть, а Майку десять лет, но эти звери отняли у них и у нас родительские права. Когда я вижу понимание в глубоких голубых глазах Майка, мягкую улыбку Робби, я знаю, почему мы можем противостоять этим невыносимым страданиям.

В последнее время я много читаю: книги о природе, о законах материи, по экономическим проблемам, политические и научные статьи, я знаю, что человек может изменить природу, сделать мир лучше. Я понимаю, насколько важно делать так, чтобы это стало реальностью. В этом я вижу единственно верный путь настоящей любви к моим детям. Любимая, сейчас, когда мы не вместе, разделенные властью тирании, мои глаза, мой голос, все мое существо, сердце стремятся к тебе и восхищаются тобой, знай, что я навсегда останусь верен правде. За грядущий день, за дыхание весны, за будущее, в котором круглый год будет властвовать пора молодости, за яркий расцвет жизни я люблю тебя и верю,

твой молодой человек Юлиус».

17 июля 1950 года, когда Робби спал, а я слушал радиопьесу «Одинокий путник», в нашу квартиру пришло ФБР и арестовало отца. По радио я услышал, что отца обвиняют в том, что он «продал секрет атомной бомбы русским» и что ему грозит смертная казнь на электрическом стуле. Так начался кошмар, который длился три года.

Отца арестовало ФБР, по моим представлениям, ФБР было «хорошим», значит, мой отец был «плохим». Несколько дней спустя снова в одиннадцатичасовой программе новостей по радио сказали про моего отца: он заявил, что выдвинутое против него обвинение — нелепость, «подобная тем, какие слышат мои дети в радиопьесах». Начиная с этого утверждения мои представления о плохом и хоро-

шем стали резко меняться. Хотя я еще не был окончательно убежден в невиновности отца, не думаю, что когда-либо потом я верил в «плохого» отца и «хорошее» ФБР.

11 августа мама предстала перед большим жюри [1], после чего ее тоже арестовали. Я до сих пор слышу ее голос, как она говорит об этом по телефону. Мне потом рассказывали, что я истошно заревел; она слышала этот плач в своих кошмарах до конца жизни.

Три десятка лет назад, в разгар «холодной войны», сенатор Джозеф Маккарти (на снимке слева — заседание комиссии конгресса США по расследованию антиамериканской деятельности, председателем которой был Маккарти) обещал избавить Америку от «красных». В помощь сенатору президент Эйзенхауэр (справа) и конгресс США издали законы (они не отменены и по сей день), на основании которых можно неугодных правительству людей заключать в тюрьму



Вскоре нас пристроили в детский приют в Бронксе [2]. Робби счастливчик, что помнит немногое. То было нищее заведение с грубой пищей, холодными комнатами и сквозняками — место, достойное пера Чарлза Диккенса. Я возненавидел приют, и прошло много времени, прежде чем я пережил шок от знакомства с ним. Мне все казалось, что я в чем-то провинился и в наказание меня поместили сюда. Я спрашивал у каждого: «Я здесь уже целую неделю, разве этого не достаточно? Может, теперь мне разрешат вернуться домой?»

Поначалу арест отца удивил и напугал его родственников. Бабушка Софья, стойкая и мужественная женщина, навестила сына в тюрьме. Она спросила, что все это значит. Он ответил: «Мама, я ничего не знаю об этой чепухе». Она вернулась к детям и сказала: «Пойдите навестите брата. Он не виновен». Ее не испугала политическая истерия, она даже смогла убедить своих детей в невиновности наших родителей. Но они по-прежнему предпочитали оставаться в тени, мысль о каких-либо действиях, например забота о нас, детях, всех приводила в ужас. Бабушка Софья была в то время серьезно больна и не могла о нас позаботиться.

В апреле я узнал приговор. Печально я бродил по улице и каждому, кто проявлял интерес или попросту оказывался рядом, я твердил снова и снова: «Мы проиграли дело».

Для усиления психологического давления на наших родителей мать перевели из нью-йоркской тюрьмы, где по-прежнему содержался отец, в Дом смерти — тюрьму Синг-Синг в Оссининге [3].

[1] *Группа лиц, решающая вопрос о предании кого-либо суду.— Здесь и далее примеч. ред.*

[2] *Район бедноты в Нью-Йорке.*

[3] *Ю. Розенберга перевели в Синг-Синг месяцем позже.*

25 апреля 1951 года

«Дорогой Мэнни [4],

...я осваиваюсь, и довольно быстро, причем должна тебе сказать, мой распорядок дня уже начал приобретать определенные очертания. Я, словно бегун, глубоко дышу, отмеряя и контролируя каждый вдох, выдох, расслабленно и размеренно, но в то же время я собранна, всегда готова к вызову. В самом деле, я даже ощущаю жажду противоборства и принимаю его со спокойствием, но и с искренней робостью. Я сознаю, что таким обыкновенным людям, как Розенберги, выпало встать во весь рост и заставить с собой считаться. Когда бы нам ни случилось умереть, нас никогда не смогут упрекнуть, что мы позволили обращаться с собой иначе, чем с честными людьми!..

Salud! No pasaran! [5]»

18 апреля 1951 года

«Дорогая Этель,

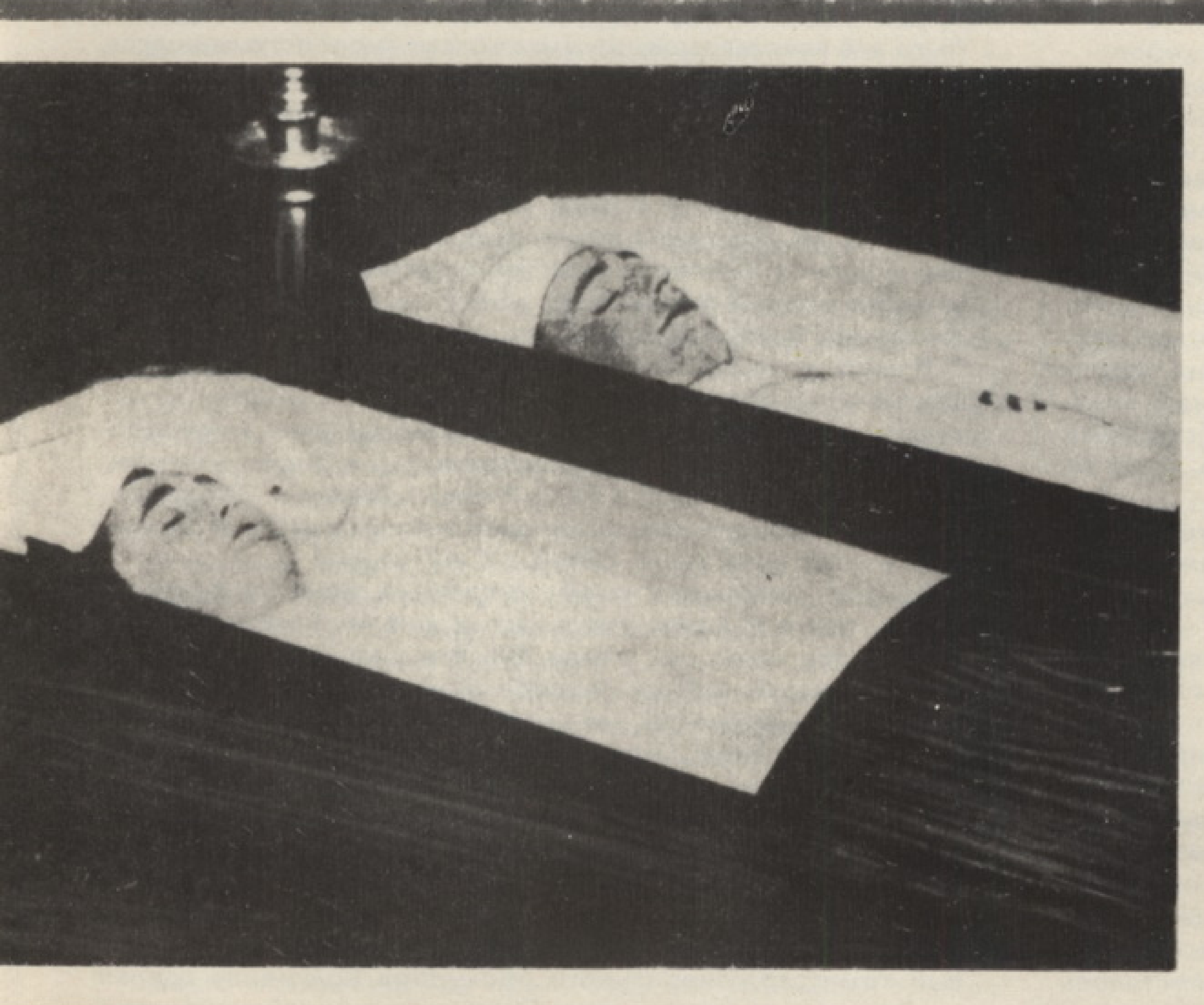
...как ты понимаешь, американское гестапо во все глаза и уши стремится установить контроль над мыслями американцев. Антидемократические клятвы «лояльности», сфабрикованные политические судилища, этот парад лжесвидетелей, осведомителей и профессиональных клятвопреступников — все годится в «охоте на ведьм», лишь бы сковать умы и тела великой свободолюбивой американской нации. Но я верю, что эти усилия обречены на провал, я знаю также, что нас ждет успех, мы завоюем свободу. Факты о нашем деле прячут от общественности, но

[4] *Эмануэль Блох, адвокат Розенбергов на процессе.*

[5] *«Они не пройдут!» (В 1936 году наши родители поддерживали Испанскую республику, что на процессе было использовано как одно из доказательств их вины.) — Примеч. авт.*

и даже убивать, как по ложному обвинению в шпионаже убили американских убежденных антифашистов Юлиуса Розенберга и его супругу Этель. Нынешнее правительство США называют «наследниками Маккарти»: «То, чего не сумел добиться покойный сенатор Джо Маккарти с его рычанием и угрозами,— пишет влиятельная газета «Нью-Йорк таймс»,— может удаться другим, «приятным малым» с мягкими манерами, подкрашенными патриотизмом».

спрашивал всех подряд, зачем оклеветали моих родителей, кто оклеветал их, что нам теперь делать и т. д. Однажды, кажется, С. сказал, что обвинение, выдвинутое против наших родителей, сфабриковано правительством. Я взорвался с громкостью, на какую только способен восьмилетний ребенок. «Будь проклято правительство!» — закричал я. Бабушка посмотрела на стену и испуганно зашикала. С., запинаясь, объяснил: «Ну, я имел в виду лишь некоторых людей в правительстве». Тогда я кротко, но достаточно громко сказал стене: «Кто меня слышал, я не имел в виду правительство».





скрыть правду невозможно. Рано или поздно о ней узнают все...

Навеки твой Юлиус, с любовью».

25 апреля 1951 года

«Дорогая Этель!

...В прошлый понедельник меня опять водили на крышу тюрьмы. Наконец мне дали полчаса свежего воздуха... Каким наслаждением была каждая минута...

Я чувствовал себя так, что хотелось кричать с этой крыши: «Люди, послушайте! Вершится трагедия!» Ужасная правда такова, что суд используют для нагнетания парализующего страха, чтобы заставить замолчать чистосердечных и прогрессивных людей, задушить критику и оппозицию безумному курсу на ядерную войну. Необходимо разоблачить этот политический трюк, особенно это касается нас с тобой, ведь наша личная борьба неотъемлема от общего движения за мир. Мы понимаем это, и каким-то образом, какими-то путями, насколько можно скорее это должен понять каждый...

Твой Юлиус».

Пока наши родители «осваивались» в Доме смерти, готовясь к долгому пути апелляций, которые, они надеялись, приведут к оправдательному приговору, Робби и я осваивались в новом «доме». Бабушке Софье стало лучше настолько, что она сняла квартиру и взяла нас к себе.

Два события того лета имеют важное значение. Мы с Робби навестили родителей в тюрьме, обнимали их, целовали их, разговаривали с ними — после целого года разлуки. И второе: серия статей Уильяма А. Рубена в «Нэшнл гардиан» покончила с монополией тех американских газет, которые поддерживали приговор о виновности наших родителей. Я был поражен, когда узнал, что не все люди в США считают их шпионами. Я стал задавать вопросы, я

23 ноября 1952 года

«Дорогая Этель [6],

...теперь дело вступило в решающую стадию, и писаки Херста [7] изрыгают дополнительно сфабрикованную информацию, продукт размокших от виски мозгов, подрывая нашу борьбу. Мне кажется, у нас в стране есть некий «призрак», генштаб геббельсовского типа, куда входят представители основных газет, разрабатывающий идейную стратегию клана, цель которой — преградить дорогу справедливости. Под их давлением были найдены юридические уловки, позволившие остановить суд над военными преступниками, потом смягчить вынесенные им смертные приговоры, освободить из тюрьмы тысячи этих преступников, потому что они вновь понадобились, чтобы занять места мальчиков на побегушках для грязной работы на «достойных» [8] людей.

Таково равенство всех перед законом, установленным правительством. А нам осталось сорок три дня жизни.

Во время допросов в суде я заявил, что русские приняли на себя основную тяжесть войны и что союзники были обязаны открыть второй фронт. Суду это не понравилось, но если бы второй фронт открыли раньше, не было бы миллионов жертв фашизма. На странице 1079 прото-

[6] *Сестра Ю. Розенберга.*

[7] *Газетный магнат, которому принадлежали основные издания в США.*

[8] *Аллюзия на сочетание «honorable member» — член конгресса.*

кола суда я даю следующие показания: «...обсуждая с друзьями преимущества других форм правления, я исходил из их достижений, я понимал, что Советское правительство улучшило жизнь многих обездоленных в стране, добилось больших успехов в ликвидации неграмотности, проделало большую работу по реконструкции хозяйства, создало большие производственные мощности; в то же время я понимал, что им принадлежит главный вклад в уничтожение гитлеровского зверя, и я испытываю к ним благодарность.

Вопрос. Вы так думали в 1945-м?

Ответ. Да, я так думал в 1945-м.

Вопрос. Думаете ли вы так сегодня?

Ответ. Я по-прежнему так думаю».

Суду это не понравилось, суд хотел, чтобы я признался в преступлениях, которых не совершал, дал ложные показания против ни в чем не повинных людей, позволил использовать себя как инструмент в антисоветской и антикоммунистической пропаганде, помог в нагнетании истерии и «холодной войны». Но я не позволю использовать мое имя в пропагандистских целях, для усиления напряженности между Соединенными Штатами и Россией. Только улучшение отношений между двумя этими странами послужит на пользу их народам и обеспечению мира на Земле.

Единственной уликой, представленной правительством и «доказывавшей» нашу причастность к шпионажу, была жестяная банка для сбора пожертвований с надписью: «Спасите младенца Испанскую республику». В заключительной речи наш адвокат сказал, что это доказательство так же беспочвенно, как и все дело Розенбергов, и никак не подтверждает нашу причастность к шпионажу.

Эта банка была предназначена для сбора средств в помощь невинным жертвам фашистского палача Франко. Мы признаем — мы ярые антифашисты. Поэтому мы не только сами жертвовали деньги в помощь испанским беженцам, но и участвовали в их сборе, подписывались под петициями в защиту Испанской республики. Когда мы боролись с фашизмом, наши судьи были на стороне Франко. Поэтому нас приговорили к смертной казни, и нам осталось лишь сорок два дня жизни...»

В нескольких кварталах от нас жили друзья родителей Бен и Фрэнсис Майонор. У них было два сына, старший, Майкл, был лишь на год моложе меня. Мы сразу подружились и часто играли в салки, прятки и не помню во что еще. Иногда к нам присоединялись друзья Майкла, и мы играли командами. Мне дали кличку Айк.

Я подружился и с некоторыми ребятами в своем квартале, особенно с Филом и Лоуренсом. Вскоре я поделился с Филом тем, что прочитал в «Нэшнл гардиан»,— моих родителей оклеветали. Я считал, что лучший способ их спасти — рассказывать всем про их невиновность. Мать Фила отнеслась ко мне благожелательно, но Фил предупредил меня, чтобы я ничего не рассказывал Лоуренсу, потому что он разболтает по всему кварталу. Но я решил, это будет даже на пользу: тогда люди станут читать «Нэшнл гардиан» и убедятся в моей правоте. На следующий день мы все рассказали Лоуренсу. В начале октября, когда я сидел в гостях у Лоуренсов и смотрел телевизор, моя идея прошла проверку. Мать Лоуренса спросила, как меня зовут. Когда я ответил, она сказала: «А Юлиус Розенберг...» Я не дал ей договорить и с торжественным видом начал речь: «Да, и, если вы читали «Нэшнл гардиан», то...» Она оборвала меня: «Я не хочу об этом слышать». Я отвернулся к телевизору, почти физически ощущая на себе ее враждебность. Брат Лоуренса, такой дружелюбный и отзывчивый во время наших игр, грубо спросил: «Скажи, Лоуренс, ты американец или нет?» Лоуренсу не хотелось отвечать. «Мамочка, он ко мне пристает»,— пожаловался он. Его родители сказали, что мне пора домой. Обращаясь к Лоуренсу, его мать крикнула: «И чтобы это был твой первый и последний приятель-коммунист!» Думаю, тогда я впервые услышал это слово, противопоставлялось оно слову «американец». Потом, когда я стал старше, я не раз слышал подобные фразы в школе. Я уже шел по коридору, когда она крикнула: «Смотри, если увижу, что ты опять крутишься вокруг Лоуренса...» Я прибежал домой в слезах, бабушка долго меня успокаивала: «Не обращай внимания на нескольких невежд». Но в следующие два года я увидел, что страх и злоба распространились далеко не на «нескольких невежд» — на всю страну. Мои родители узнали о случившемся.

После случая с Лоуренсом я перестал играть в нашем квартале: я боялся всех. В школу я предпочитал ходить кружным путем, опасаясь встретить бывших приятелей.

Мы с Робби не знали, что Мэнни, наши родители и их друзья решили подыскать нам новый дом. Причиной тому была все возраставшая шумиха вокруг судебного процесса, неприязненное отношение к нам, ухудшившееся здоровье бабушки. В июле Робби и я переехали в Томс-Ривер, штат Нью-Джерси, и поселились у друзей родителей Сони и Бена Бах.

Из личного опыта я знал, что коммунистов у нас ненавидят. Я помню, как один из коллег Бена Баха, говоря о его участии в кампании за освобождение моих родителей, спросил его: «А разве Мэнни Блох не снюхался с коммунистами?» Вскоре Бен был уволен с работы.

Как-то в школе учитель спросил, где мои родители? Застигнутый врасплох, я соврал, сказав, что они путешествуют и вернутся через год. Но однажды мне захотелось показать табель с оценками родителям, я сказал учителю, что вскоре они будут в Томс-Ривер проездом. Он разрешил на некоторое время оставить табель у себя. В первый же визит я взял его с собой в Синг-Синг.

Шофер школьного автобуса опознал меня по фотографии в газете и донес руководству школы. Бена вызвали к инспектору школ, но, когда Бен показал мой табель, инспектор сказал: «Очень способный мальчик». На этом дело, казалось, закончилось, но теперь я боялся, что ребята узнают, кто я такой. Однажды в разговоре кто-то спросил: «Майк, а ты не родственник тем шпионам?» — «Нет»,— сказал я, не считая своих родителей шпионами. И все же я понимал, что как бы отказываюсь от них, и ненавидел себя за это.

2 июня 1953 года Джон В. Беннетт, директор управления тюрем, нанес моим родителям визит и как полномочный комиссар генерального прокурора Браунелла сделал чудовищное предложение: «Признание в своей шпионской работе или смерть». Родители отвергли предложение и выступили с разоблачением в печати, по-прежнему настаивая на своей невиновности. Министерство юстиции, в свою очередь, уверяло, что визит носил обычный характер и никакой сделки предложено не было.

«Дорогой Мэнни,

...совершенно очевидно, ситуация чревата серьезной опасностью. Под угрозой не только две наши жизни, но и безопасность наших соотечественников. Если в Вашингтоне не осталось и капли здравомыслия или благоразумия, в своем безумии они, возможно, разрешат палачу включить ток и убить нас. А завтра, кто знает, не разрешат ли они применить атомную бомбу или какое другое средство массового уничтожения, развязав мировую войну, которая уничтожит цивилизацию? Именно потому, что люди понимают эту опасность, мы пользуемся такой широкой поддержкой в Западной Европе, в Азии, в Латинской Америке и даже в собственной стране, несмотря на поток лжи и дезинформации, извергаемой подавляющим большинством американских газет. Они кричат, что коммунизм недееспособен, но сами только и способны, что шарить в пустоте, добавляя все новые ошибки к уже существующим...»

14 июня 1953 года мы встали рано, сели в автобус до Вашингтона, полный друзей родителей. В столице мы прошествовали до Белого дома, я нес письмо президенту Эйзенхауэру. В воротах Белого дома я вручил его охраннику. В отличие от свиданий в тюрьме, когда я чувствовал явную враждебность репортеров к моим родителям, журналисты, собравшиеся здесь, были сами как большой пикет, требовавший помилования. Все равно меня предупредили, чтобы я не отвечал ни на какие вопросы. Но я так хотел, чтобы меня фотографировали и задавали вопросы. Мне очень нравилась фраза, которую я слышал в различ-

ных программах новостей и в кино — «No comment» («Мне нечего добавить»), и отчаянно хотел ее произнести. Но я уважал друзей родителей и шел молча. После того как я вручил письмо охраннику, у моего лица вдруг оказался микрофон и чей-то голос по-дружески спросил, не хочу ли я что-нибудь сказать. Один из друзей родителей вмешался: «Дети очень устали и...» Но я успел вставить: «Все, что я хотел сказать, написано в письме. Мне нечего добавить». Вокруг нас стояло множество демонстрантов, в руках плакаты: «Робби (Майкл) говорит: «Не убивайте моих родителей!» Я с удовольствием тоже подержал бы один из них.

Мэнни узнал об этом в Вашингтоне, я — по телевизору. Мне кажется, словно я вовсе и не смотрел тот бейсбольный матч, был только ролик новостей о смерти наших родителей. Я не плакал, я просто сидел на кушетке и глядел на руки.

В своем последнем письме Робби и мне они написали: «Всегда помните, что мы невиновны и не могли пойти против своей совести».

Вскоре после начала занятий меня исключили из школы якобы на том основании, что мы с Робби не являлись постоянными жителями района. Мэнни попробовал уладить дело, но тщетно.

К тому времени Мэнни получил ряд предложений от различных людей, пожелавших усыновить меня и Робби. Мэнни остановил выбор на супругах Анне и Абеле Мееропол. Еще в 1952 году Мееропол предлагали, чтобы мы пожили у них, пока наши родители в тюрьме.

Анна и Абель жили в маленькой квартире в Гарлеме. В школе ученики были на девяносто процентов черными. Все отнеслись ко мне, новичку, очень дружелюбно, и в первый же день, когда вернулся домой, я заявил: «Эти негры отличные ребята!» Звучало это, конечно, ужасно, мои новые родители нахмурились. В дальнейшем я избегал слов, которые могли бы дать повод заподозрить меня в расизме.

Мэнни неожиданно умер, незадолго до оформления своего опекунства над нами. Будь мы обычными гражданами, этот факт не помешал бы Мееропол оформить наше усыновление. Но некоторые влиятельные люди решили «убить» нас, удалив от людей, разделявших политические взгляды наших родителей. Эта цель без обиняков была высказана неким С. Эндхилом Финебергом, одним из организаторов травли Розенбергов.

Несколько недель спустя после смерти Мэнни судья Джекоб Пэнкин из нью-йоркского федерального суда по делам малолетних приказал немедленно доставить нас к нему. Вечером, когда Робби уже спал, а я надел пижаму, в дверь постучалась полиция. Анна и Абель попытались уговорить полицейских подождать до следующего дня, опасаясь, что внезапный арест может нас травмировать. Но те пригрозили, что будут вынуждены применить силу. Абель заявил полицейским (их было двое в квартире, остальные в коридоре и на улице), что нас увезут только через его труп. К счастью, адвокату, которому успела позвонить Анна, удалось связаться с судьей Пэнкином, и тот дал согласие подождать до утра.

Всю ночь полиция дежурила на улице, в коридоре, даже на крыше. А утром в сопровождении эскорта полицейских нас с Робби доставили в суд. Мы чувствовали, что готовится нечто страшное.

После фарса, разыгранного Пэнкином вместо судебного разбирательства, нас опять «посадили под стражу» — ни адвокатам, ни бабушке, ни Мееропол не сказали куда.

Финеберг и другие политические марионетки убивали Этель и Юлиуса Розенберг во второй раз, они надеялись обратить любовь сыновей в ненависть к родителям, поместив нас среди американцев-«патриотов» и воспитывая в ненависти к родителям и в зависимости от их убийц. Нас снова заключили в приют, на этот раз в Спрингфилде. К счастью, люди, боровшиеся за освобождение наших родителей, пришли на помощь и нам.

В субботу утром нас снова привезли в Нью-Йорк. В зале суда мы сидели между бабушкой и Мееропол. Друг Анны и Абеля Харольд наклонился к нам и сказал: «Тот судья был подлец, но этот на нашей стороне».

Харольд привез Анну и Абеля в суд и теперь держался рядом, подбадривая их. Надо сказать, что Харольд работал в одной из государственных школ, а по тем временам, когда то и дело проходили «проверки лояльности», травля учителей, такое сочувствие и участие грозили ему потерей места. Мы никогда не забудем этот мужественный поступок. Многие друзья оказались не столь смелы.

В тот день мы одержали огромную победу — первую победу нашей семьи, когда-либо одержанную в судах. Мы вышли из здания, через площадь Фоли, вниз по долгой широкой лестнице — по всему пути нас приветствовали толпы людей, вокруг щелкали вспышки фотокамер, нам задавали вопросы. А на следующий день я прочитал в одной из газет: «Шпионские сироты направляются к бабушке». Робби уже знал, что означает «сирота». В день суда он впервые понял, что мы никогда больше не увидим наших родителей.

Несмотря на поднятую вокруг нас шумиху, моя школьная жизнь легко вошла в прежнее русло. Одноклассники говорили мне: «Тебе повезло, что ты здесь: мы тебя любим» (Гарлем оставался пристанищем радикалов, белых и черных, на протяжении всех пятидесятых годов). Леденящий страх перед «красной заразой», столь характерный для той эпохи, не затронул этих людей.

Эпилог

В феврале 1973 года в свет вышла книга Луиса Найзера «Заговор изнутри» и тотчас стала бестселлером. Мы знали об этой книге и сначала не стали ее читать, решив игнорировать очередную клевету. Но вскоре выяснилось, что Найзер не просто самовольно использовал письма, но и исказил их суть. Нас взбесило, что в этой книге наши родители характеризуются как политические фанатики, отказавшиеся от своих детей. Мы пришли в ужас, прочитав место, где Найзер называет нас «нормальными порядочными гражданами» за то, что мы якобы отказались от всего дорогого нашим родителям. Мерзкая характеристика. Мы увидели, что далее не сможем быть самими собой, если промолчим, позволим, чтобы миллионы американцев пришли к тому же заключению. Мы обратились в суд. Но судебное дело требовало гораздо большей суммы, чем мы и все друзья наших родителей располагали. Поэтому мы решили организовать наши выступления и сбор средств в Мичигане и на северо-востоке страны. Куда бы мы ни приезжали, нас спрашивали, когда мы намерены возбудить вопрос о пересмотре дела Розенбергов и добиться отмены приговора. Возобновление дела важно не только для нас, не только для восстановления исторической правды. Главное в том, что наши родители завещали нам отстаивать истину как путь утверждения человечности, как способ участия во всеобщей работе ради лучшей жизни на Земле.

Мы, наши родители, американские левые не единственные жертвы «холодной войны» — весь народ стал ее жертвой. Правительственные органы сфабриковали дело против наших родителей, чтобы запугать граждан и подчинить своим целям общественное мнение. Правительственные органы стараются убедить американцев, что слежка, подслушивание телефонных разговоров, провокаторы, политическое насилие — все это делается якобы для их же пользы, для защиты от коммунизма. Как следствие такой политики началась гонка вооружений, непомерные военные расходы и, в широком смысле, империализм. Наши родители погибли, потому что твердо противостояли всей этой машине обмана. Но опыт последних двух десятилетий ясно говорит: мы все будем уничтожены, если не встанем на защиту правды.

Наш народ дорого заплатил за американскую инквизицию. Настало время взорвать миф, порожденный с помощью клеветы на наших родителей. Мы готовы бороться в судах, в конгрессе, в прессе, на митингах, повсюду, покуда правда о наших родителях не станет общественным достоянием. Это в интересах американского народа.

Перевел с английского В. СИМОНОВ

ВИКТОР
ПРЕРВАННАЯ ПЕСНЯ

Джоан ХАРА



3 сентября 1973 года.

Сегодня мы отмечаем третью годовщину избрания Альенде, хотя главный повод для созванного на сегодня грандиозного марша — продемонстрировать оппозиции, что у Народного единства много защитников.

Август был просто ужасен. И ни самопожертвование водителей из МОПАРЕ, которые рисковали на дорогах жизнью, ни группы добровольцев не способны были преодолеть трудности, рожденные новой забастовкой владельцев грузового транспорта. Еду, парафин, бензин достать было совсем невозможно, хотя, конечно, на черном рынке продавалось все. Снова забастовали врачи.

О гражданской войне говорим постоянно. Женщины нашего квартала, те, кто поддерживал правительство, начали запасаться медикаментами, бинтами, учились оказывать первую медицинскую помощь, продумывали, куда можно было бы укрыть детей: мы готовились ко всему. Я сходила с ума из-за Аманды. Хватит ли ей инсулина? Его уже сейчас трудно было достать. Хватит ли еды, чтобы хоть она питалась регулярно, смогу ли я, если понадобится, найти врача? Но все же опасность казалась слишком нереальной: достаточно было взглянуть на нашу тихую улицу. Стоит чудесная ранняя весна, дни солнечные, ветреные, цветут вишни, на улице играют и ссорятся дети, люди спешат по своим делам. И только закрытые магазины да очереди говорят — дело неладно.

Я вспоминаю те недели. ...Я в саду, весеннее солнце печет спину... Наверное, это воскресенье, потому что все дома. Виктор работает в студии — я слышу, как он что-то напевает вполголоса. За девочек я тоже спокойна, они возятся где-то поблизости, скоро будем пить чай... И вдруг будто мороз по коже — мне становится так страшно. Мелькает мысль: вот она, нормальная жизнь, этого больше не будет, я запомню этот миг навсегда.

Тот марш 3 сентября 1973 года оказался маршем прощания с Сальвадором Альенде.

Всю следующую неделю я помню плохо, помню только, что продолжала ходить в университет, заниматься со студентами, помню, как росло напряжение, ощущение угрозы, как атмосфера становилась все более гнетущей, хотя никто и не знал, откуда ударит молния. Я пыталась обсудить положение с Виктором, спрашивала его, как быть. «Разве мы выстоим, если против нас армия?» Он только печально улыбнулся и сказал: «В том и загадка». Вопросы, вопросы, но никто — ни Виктор, ни другие не знали на них ответа.

Окончание. Начало см. в № 3—11 за 1984 год.



Сентябрь 1973 года.
Так «брали» президентский дворец Монеда.
Так шел к власти убийца Сальвадора Альенде,
убийца Виктора Хары,
палач чилийского народа
генерал Аугусто Пиночет...

Переворот

11 сентября 1973 года.

Как обычно, я проснулась рано. Виктор еще спал, так что я тихонько вылезла из постели и разбудила Мануэлиту — ей пора было отправляться в школу. Пришла Моника. Она сказала, что автомобиль Альенде с эскортом проследовал по авениде Колон намного раньше, чем обычно. В очереди ей сказали, что что-то затевается.

Я завезла Мануэлу в школу, возвращаясь домой, включила радиоприемник в машине. Передали, что Вальпараисо блокирован, что замечены необычные передвижения воинских подразделений. Профсоюзы обращаются ко всем рабочим с призывом собраться на своих предприятиях: это сигнал тревоги.

В то утро Виктор должен был выступать в Техническом университете на открытии выставки. Собирался выступить и Альенде. «Ничего не состоится»,— сказала я. «Да, но я все равно должен идти. А ты поезжай и забери Мануэ из школы: лучше всем быть дома».

Я снова выехала со двора. Наши соседи собираются группками, оживленно разговаривают, уже начинают поздравлять друг друга. Я не гляжу на них, но в зеркальце вижу, что одна из дам плюет мне вслед и делает самый оскорбительный в Чили жест.

В школе я узнаю, что младшим приказано идти домой, остаются только учителя и старшие школьники. Я забрала Мануэ, по дороге домой снова включила радио, хоть и плохо, но расслышала, что выступает Альенде. Это как-то успокоило — он говорил из дворца Монеда.

Виктор еще был дома, мы вместе приникли к радиоприемнику. Ужасно плохо слышно.

«Я говорю с вами в последний раз... Я не сдамся... Я жизнью своей отплачу народу за его верность... Я говорю вам: я уверен, что семена, посеянные нами в сознании тысяч и тысяч чилийцев, не уничтожить... Ни преступлением, ни силой не сдержать процесс социальных перемен. История принадлежит народу, потому что ее творит народ...»

Виктор решил идти на свое место работы, в Технический университет — таков был призыв Единого профцентра. Молча он заправил машину, взял нашу последнюю канистру, неприкосновенный запас.

Он и не попрощался со мной толком. «Мамита, я вернусь как можно скорее... Ты же знаешь, что я должен ехать... Успокойся».— «Чао»,— только и сказала я.

По радио шли сплошные марши, я крутила ручку настройки и услыхала сообщение: верховное командование вооруженных сил под предводительством генерала Аугусто Пиночета предъявило Альенде ультиматум... Если он не сдастся до полудня, дворец Монеда будет подвергнут бомбардировке.

Моника готовила обед, Аманда и Карола играли в саду, и вдруг раздался вой пикирующего самолета и чудовищный взрыв. Как будто я снова стала маленькой, снова Лондон, снова идет война... Я втащила детей в дом, закрыла ставни, стала успокаивать девочек: это, мол, такая игра. А самолеты продолжали выть, казалось, что бомбы падают совсем рядом... Думаю, в тот момент я и утратила все надежды...

Потом появились вертолеты. Они зависли низко-низко, почти над верхушками деревьев. Чудовищные насекомые изрыгали пулеметный огонь по дому Альенде. Выше, над горами кружился еще один самолет. Мы слышали его рокот в течение нескольких часов, наверное, то был контрольный самолет.

Зазвонил телефон, голос Виктора: «Мамита, как ты там? Я не мог добраться до телефона раньше... Я здесь, в Техническом университете... Ты уже знаешь, что случилось, да?» Я сказала, что здесь бомбардировщики, но с нами все в порядке. «Когда ты вернешься?» — «Я потом позвоню... Тут нужен телефон... Чао».

Оставалось только слушать радио. Военные команды в промежутках между маршами. Соседи толкутся в своих патио, взволнованно разговаривают, смотрят с балконов, как атакуют дом Альенде... Они угощают друг друга вином... На одном доме даже вывесили флаг.

Мы слушаем: дворец Монеда подвергся бомбардировке, горит... Жив ли Альенде? Объявлен комендантский час. Звонит Куэна, спрашивает, как мы там, я говорю ей, что Виктор в Техническом университете. «О боже!» — восклицает она, и разговор прерывается.

Мы начинаем понимать, что телефоны прослушиваются. В половине пятого снова звонит Виктор: «Мне придется здесь остаться... Я приеду рано утром, как только комендантский час кончится... Мамита, я тебя люблю».

«Я тоже люблю тебя...» — хочу я сказать, но у меня перехватило горло, а он уже повесил трубку.

Я легла в постель, но уснуть, конечно, не могла. В темноте слышались выстрелы. Я ждала утра и все думала, как там Виктор: не холодно ли ему, удалось ли заснуть, я жалела, что он не взял с собой куртку, а может, он заночевал у кого-нибудь, кто жил по соседству с университетом?

Утро. Виктора все нет. Я вспомнила, что в доме нет ни копейки денег, и отправилась в маленький магазинчик Альберто — он сотрудничал с ХАП, и я надеялась обменять там чек. Меня обогнали два грузовика, в них сидели люди, гражданские, с автоматами и пулеметами: местные фашисты выползли из своих нор.

Дома включила телевизор. Меня почти вырвало от отвращения, когда я увидела рожи генералов, которые говорили о том, что «вырвали с корнем заразу марксизма»; передали официальное сообщение о том, что Альенде мертв; руины

дворца Монеда и дома Альенде — эти кадры без конца повторяли. Уже к вечеру сообщили, что Технический университет захвачен, что арестовано большое число «экстремистов». Может, ему удалось выбраться из университета до того, как пришли танки? Я могла надеяться только на это.

Еще одна ночь, слишком холодная для сентября. Какая огромная и пустая постель... И снова утро, и снова никаких известий. Позвонила Куэна... Она узнала, что арестованных в Техническом университете свезли на огромный крытый стадион, где Виктор так часто пел... Ближе к вечеру раздался еще один звонок. Сердце у меня оборвалось. Я схватила трубку, незнакомый голос спросил компаньеру Джоан: «Компаньера, вы меня не знаете, я должен вам кое-что передать от мужа. Меня только что выпустили со стадиона... Виктор там. Он сказал, чтобы вы успокоились и были дома с детьми... Он оставил машину на стоянке возле Технического университета, может быть, кто-нибудь доставит ее вам... Он не думает, что его отпустят со стадиона».— «Компаньеро, спасибо, что вы позвонили, но что он имел в виду под этими словами?» — «Он просил меня передать вам только эти слова. Удачи, компаньера». И человек повесил трубку.

Когда несколькими минутами позже позвонила Куэна, я все ей рассказала. Она начала действовать, пробовать как-то вытащить Виктора. Она даже встретилась с кардиналом Сильвой Энрикесом и попросила его вмешаться. Я же была парализована: я боялась, что мое появление укажет им на Виктора, если они до сих пор его не узнали, и еще я считала, что если он дал мне такие указания, то я и должна их выполнять. Даже теперь я не представляла себе весь ужас происходившего.

В пятницу, в те короткие часы, когда можно было выходить на улицу, я отправилась через весь Сантьяго за машиной. Я считала, что ее нужно подогнать к дому, а вдруг нам придется срочно уехать? Вышла из автобуса, помедлила на углу улицы, ведущей к стадиону. Что делать, что делать? Прошла несколько кварталов к Техническому университету... Окна и двери выбиты, на фасаде следы пуль. Стоянка пуста, лишь посреди наша маленькая машина, такая одинокая. Наверное, там были охранники, но я их не заметила. Видела только, что неподалеку на бордюре сидит старик. Подошла поближе к машине, вытащила ключи, сделала еще один шаг и вдруг обнаружила, что ветрового стекла нет... машина полна осколков. Я подумала: «Тогда это не наша машина». Стала пробовать ключи — наверняка не подойдут. «Кто вы такая?» — крикнул старик и направился ко мне. «Это моя машина,— еле-еле проговорила я.— Это машина моего мужа. Он ее здесь оставил».— «Тогда все в порядке,— сказал старик,— я сторожу ее для дона Виктора. Смотрите, я нашел на земле его удостоверение личности. Возьмите. Вам лучше поскорее уехать. Здесь опасно». Я уехала, а он смотрел мне вслед.

Это было в пятницу. Как прошла суббота, не знаю. Мне кто-то звонил. Я кому-то звонила. Пришла Марта, жена Анхеля Парра. Его арестовали и отправили на стадион. Дурные вести о друзьях и знакомых. Лидеры Народного единства задержаны или скрываются, их преследуют как уголовных преступников.

Утром в воскресенье я подошла к гардеробу и начала доставать платья, которые не надевала годами: благопристойные, дорогие платья от «Марка и Спенсера», в них я определенно выглядела иностранкой. Я зачесала волосы наверх, надела темные очки и отправилась в резиденцию британского посла просить его помочь Виктору. Молодой сотрудник посольства спросил: «Оу, а ваш муж британский подданный? Вы же знаете, мы ничего не можем сделать, если он не англичанин».— «Нет, он чилиец. Но он в особой опасности, потому что он очень известный человек. Пожалуйста, может быть, вы что-то можете для него сделать... Если они узнают, что им заинтересовалось британское посольство, может, ему будет лучше».— «Я не думаю, что мы что-то можем для вас сделать. Ничего не могу вам обещать. Я позвоню, если что-нибудь узнаю».

Правильно ли я поступила, вдруг я выдала Виктора? Если он выбросил удостоверение личности, значит, надеялся, что его не узнают. Если только он еще жив...

Понедельника я не помню. Наверное, что-то делала, двигалась, как-то жила. Военные издали декрет: завтра, в день празднования независимости, все должны вывесить флаги.

Вторник, 18 сентября

У ворот стоит молодой человек. Тихо говорит: «Я ищу компаньеру Виктора Хара. Мне нужно поговорить с вами. Пожалуйста, не бойтесь, я друг. Я член организации Коммунистической молодежи».

Я впускаю его, веду в гостиную. «Я должен сказать вам... Виктор мертв... Его тело нашли в морге. Его узнал один из товарищей, который работает там. Прошу вас, мужайтесь, вы должны пойти со мной и взглянуть, он ли это... Его тело там уже двое суток, и если оно не будет опознано, его похоронят в общей могиле».

Прошло полчаса. Я веду машину, сама не понимаю как. Этот неизвестный молодой человек сидит рядом. Он говорит, что его лучше называть Эктором. Вот уже неделю он работает в городском морге, пытается опознавать тела, которые привозят туда каждый день. Он очень рисковал, придя ко мне.

Темный коридор, большой зал. Мы идем мимо обнаженных тел, сваленных на пол, груды тел в углу, ужасные раны, у некоторых руки все еще связаны за спиной... молодые, старые... сотни тел... сотрудники морга, молчаливые, странные люди, на лицах маски, защищающие от вони, они волокут сюда тела, тащат за ноги, сваливают в кучи. Я стою в центре зала, ищу и не хочу найти Виктора, я начинаю стонать. Эктор говорит: «Ш-ш-ш. Тихо. А то нам отсюда не выбраться...»

Мы идем вверх по лестнице. Морг переполнен, тела всюду, даже в административном здании. Опять коридор, двери, двери, вдоль стены лежат тела, эти одеты, выглядят как студенты, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят... Здесь, в середине, я вижу Виктора.

Это Виктор, такой худой, изможденный?.. Что же они делали с ним, почему он так похудел за неделю? Глаза открыты, кажется, что он смотрит вперед, настойчиво и вызывающе, несмотря на ужасную рану в голове и порезы на щеках... Штаны спущены к щиколоткам, свитер задрался, голубые трусы разорваны в клочья, будто ножом или штыком. Грудь исколота, в животе зияющая рана. Кисти рук висят так странно, будто перебиты... Это мой Виктор, мой муж, моя любовь.

Во мне что-то умирает. Я чувствую, как во мне что-то умирает. Я не могу шевельнуться. Я не могу говорить.

Он мог исчезнуть без вести. Только потому, что его узнали среди этих неизвестных тел, его не похоронят в общей могиле. Спасибо тому человеку, который узнал его, спасибо Эктору — он же совсем мальчик, ему только девятнадцать,— который пошел на такой риск и нашел меня.

Теперь необходимо официально опознать тело Виктора. Надо быстро вынести его из морга на кладбище и похоронить... Ах да, правила. Я должна привезти из дома брачное свидетельство. И вот я снова еду через Сантьяго, город украшен флагами в честь Дня независимости. Я не могу сказать об этом детям... Их нельзя брать с собой в морг. Один из друзей вызывается сопровождать меня. Странно, его тоже зовут Эктор...

Бумаги, формальности. Проходят часы... В три часа дня я все еще сижу во дворе, у входа в подвал — мне сказали, что тело Виктора вынесут отсюда. Здесь полно женщин, они просматривают бессмысленные листы, на которых указан только номер, пол, «имя неизвестно», найден там-то и там-то. Я сижу здесь, поминутно во двор въезжают военные машины с красным крестом, они едут прямо в подвал, выгружают там трупы и уезжают за новой порцией.

Все готово. Гроб погрузили на тележку, тележка подпрыгивает, тарахтит. Мы идем и идем, Эктор, мой новый друг, с одной стороны, Эктор, мой старый друг,— с другой. Только когда гроб Виктора исчез в приготовленной для него нише, я начала падать. Я ничего не чувствовала, только думала, как там дома, как Мануэла и Аманда, наверное, поэтому я и не умерла там.

На следующий день в газете «Сегунда» опубликовали

маленький некролог, такой спокойный, будто Виктор умер в своей постели: «Погребение было очень скромным, присутствовали только ближайшие родственники». Потом всем средствам массовой информации был дан приказ: более о Викторе ни слова. И только по телевидению, когда передавали какой-то американский фильм, кто-то — этот человек рисковал жизнью — вмонтировал в звуковую дорожку несколько тактов из «Молитвы пахаря».

Прерванная песня

Месяцы, даже годы пришлось мне по кусочкам собирать, восстанавливать все, что случилось с Виктором в ту неделю...

Утром 11 сентября Виктор добрался до Технического университета как раз тогда, когда начали бомбить дворец Монеда. Вскоре после этого он дождался своей очереди у телефона и позвонил мне в первый раз. Когда по радио передали приказ о введении комендантского часа, ректор вступил в переговоры с военными: он просил разрешения собравшимся здесь людям остаться на территории университета до утра, до отмены комендантского часа. Военные согласились и запретили покидать корпуса. Тогда Виктор позвонил во второй раз. Он не сказал, что университетский городок окружен войсками.

Весь вечер они слышали выстрелы, пулеметные очереди. Люди рассказывали мне, что Виктор старался поднять всем настроение. Он пел, заставлял их петь вместе с ним. Всю ночь строчили пулеметы. А рано утром танки ворвались на территорию университета.

Потом их стали группами перегонять в «Эстадио Чили», Боксерский стадион. И вот когда их выстроили перед стадионом, Виктора узнал один из офицеров: «А, так это ты, чертов певец?» Он ударил Виктора по голове, Виктор упал, а офицер бил его ногами в живот. Виктора отделили, повели в галерею, отведенную для «особо опасных».

Наутро Виктор, очевидно, хотел перебраться к остальным узникам. Один свидетель, который был в тот момент в коридоре, видел следующую сцену: Виктор толкнул дверь и почти налетел на офицера, тот, похоже, был вторым по значению начальством здесь, на стадионе. Он все время орал в мегафон команды, угрозы. Это был высокий красивый блондин, он явно наслаждался своей ролью, и заключенные уже успели прозвать его Принцем.

Виктор столкнулся с ним лицом к лицу, тот узнал его и издевательски улыбнулся. Захихикал, начал изображать игру на гитаре, а потом провел пальцем по горлу, будто резал глотку. Виктор стоял спокойно, и офицер заорал: «Что здесь делает эта сволочь?» Вызвал охранников и приказал: «Не выпускать. Это блюдо специально для меня».

Потом Виктора перевели в подвал, его тащили по проходу — отсюда он так часто шел на сцену.

Вечером его швырнули к другим заключенным. Он не мог идти, лицо и голова разбиты, ребра, видно, переломаны. Друзья вытерли ему лицо и попытались устроить поудобнее.

На следующий день, в пятницу 14 сентября, узников разделили на две группы, в каждой человек по двести, для отправки на Национальный стадион. И тогда, едва придя в себя, Виктор попросил у друзей клочок бумаги и карандаш и начал писать свое последнее стихотворение. Виктор писал, он спешил, он хотел, чтобы весь мир узнал о тех ужасах, что творятся в Чили. Он мог говорить только о том, что видел сам в «этом маленьком уголке города», где были сосредоточены пять тысяч человек, но он мог представить себе, что творилось в стране. Он сознавал чудовищные размеры «военной операции» и понимал, как тщательно она была подготовлена.

В эти последние часы своей жизни он вспоминал детство, он сравнивал военных с «повивальными бабками»: в детстве их появление означало для него ужасные крики и страдания женщин. Теперь в эти видения пыток проникла и садистская улыбка Принца. И даже сейчас Виктор верил в будущее, верил, что люди сильнее бомб и пулеметов, и когда он подошел к последним строчкам, появилась группа охранников, его отделили от тех, кого переводили на Национальный стадион. Он быстро сунул клочок бумаги со своей песней товарищу, который сидел рядом. Этот человек спрятал бумагу в носок. Потом они вместе с друзьями выучили стихи наизусть и вынесли их миру.

У меня есть еще два свидетельства о Викторе... Один человек был вместе с ним в раздевалке, превращенной в камеру пыток... Этот человек потом передал, что Виктор все время вспоминал меня и дочерей, говорил о своей любви... Еще люди помнят, как его бил Принц, как он вопил: «Пой, если можешь, ублюдок!» И Виктор запел, он запел «Венсеремос», и песня летела над ужасом и болью... На Виктора накинулись, сбили с ног и поволокли...

Здесь нас пять тысяч,
в этом маленьком уголке города.
Нас пять тысяч,
но сколько же нас во всех городах,
по всей стране?
Только здесь —
десять тысяч рук, которые сеяли зерно,
заставляли работать заводы.
Сколько же человеческих душ
обнажены, безоружны перед
голодом, холодом, страхом, болью,
моральными пытками, ужасом и безумием?
Шестеро из нас
уже улетели к звездам.
Один умер, второй погиб от побоев —
я и не представлял, что так можно бить
человека.
Еще четверо захотели сами положить
этому конец:
один прыгнул в никуда,
другой разбил себе голову о стену,
и взгляд их был застывшим взглядом мертвецов.
Как чудовищен лик фашизма!
Как четко очерчены их планы, будто ножом.
Для них ничто не имеет значения.
Для них кровь — это медали,
а резня — акт героизма.
О боже, неужели это ты создал этот мир,
неужто ради этого ты работал шесть дней?
Мы, заключенные в четырех стенах,—
что для нас изменится?
Разве только будут еще и еще пожелавшие смерти.
И вдруг сознание мое просыпается,
и я вижу, что в этом потоке нет биения сердца,
а есть только машинный пульс,
а военные кажут свои лица —
лица повивальных бабок,
полные притворной сладости.
Пусть Мексика, Куба, весь мир
крикнет «Нет!» зверству!
Мы — десять тысяч рук,
которые ничего не могут сделать.
А сколько нас по всей стране?
Пролитая кровь нашего Президента,
нашего компаньеро,
сильнее бомб и пулеметов!
Наш кулак снова разгромит их!
Как трудно петь,
когда я должен петь об ужасе.
Ужасе, в котором я живу,
ужасе, в котором я умираю.
Видеть себя среди многих и многих
бесконечных минут,
и молчание и крики —
вот конец моей песни.
Я вижу то, что никогда не видел,
но все, что я чувствовал, и все,
что я чувствую —
из всего этого родится будущее...

«Эстадио Чили», сентябрь 1973 года.

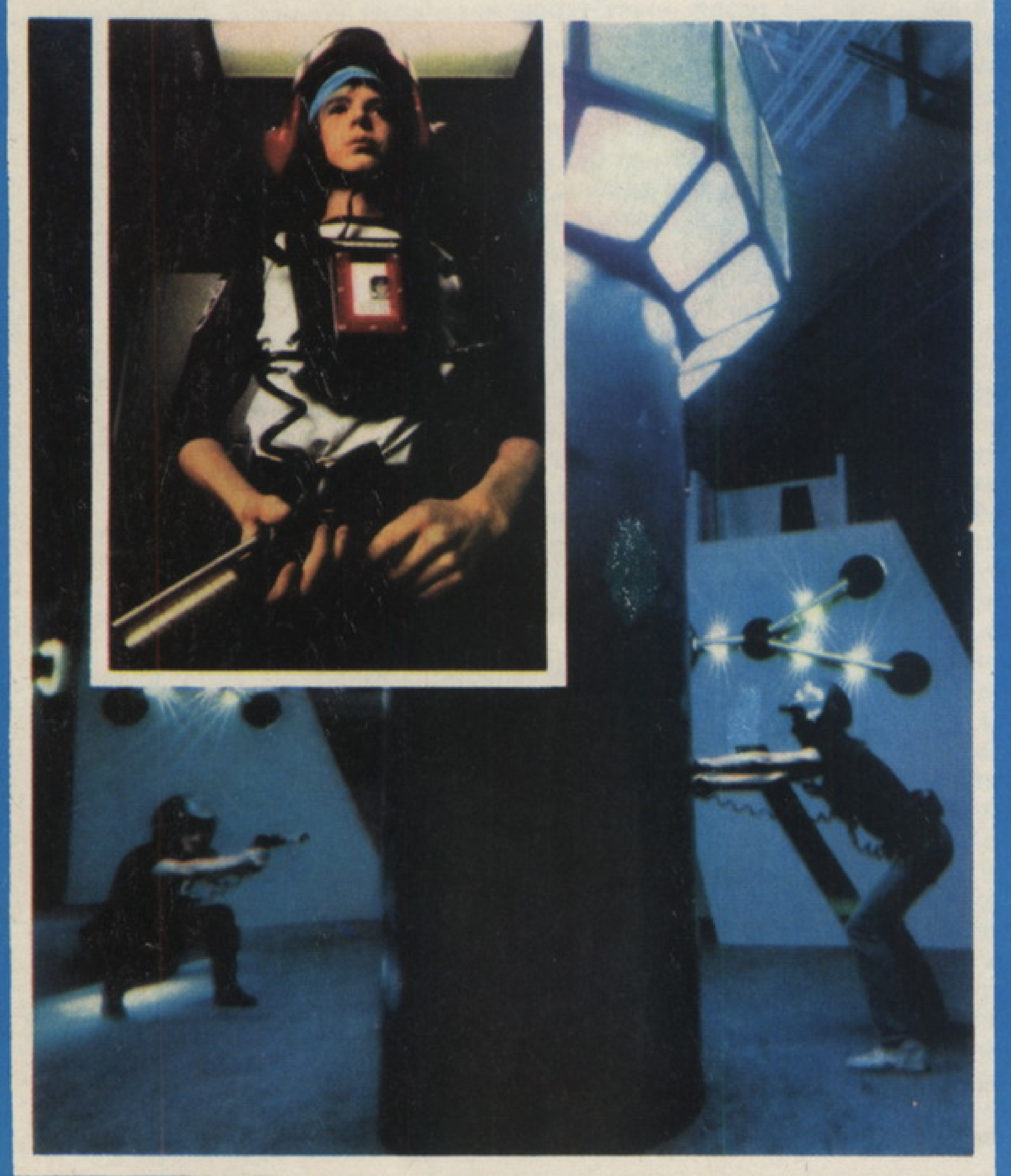
Конец

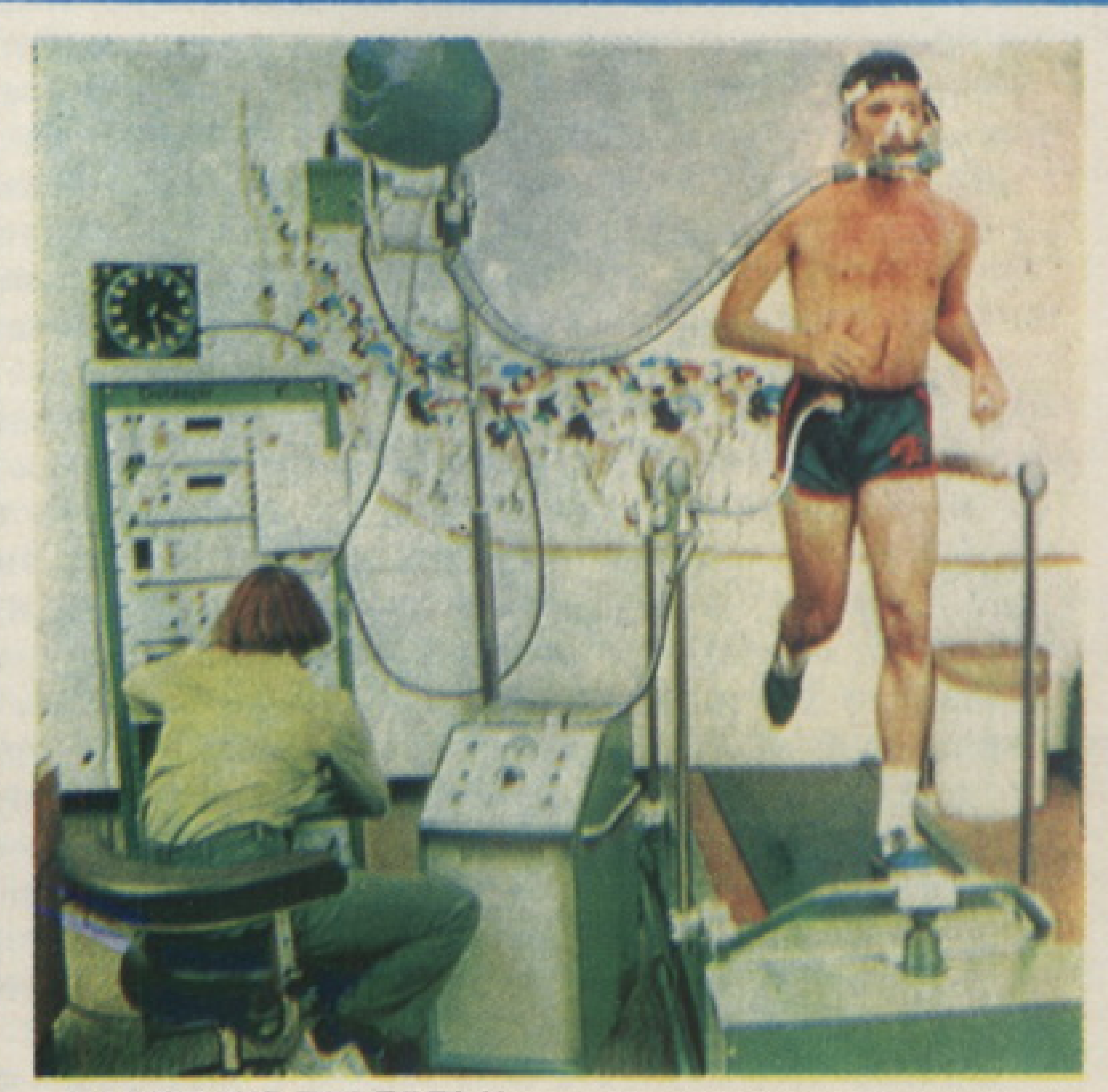
Сокращенный перевод с английского
Н. РУДНИЦКОЙ



ГЛОТОК КИСЛОРОДА! Мехико по праву считают одним из красивейших городов Латинской Америки. К тому же это самый густонаселенный город планеты — около 17 миллионов жителей. Известно также, что Мехико одна из самых высокогорных столиц. Вот эти два последних обстоятельства и порождают серьезнейшую проблему: загрязнение воздуха, кислородный голод. В разреженном высокогорном воздухе и без того на 30 процентов меньше кислорода, добавьте сюда 3 миллиона машин, 7 тысяч дизельных автобусов, чьи выхлопные газы именно из-за разреженности воздуха в два раза токсичнее, чем в условиях равнины, добавьте, наконец, около 130 тысяч предприятий города и округи. Сенат страны принял жесткие меры против загрязнителей атмосферы: 90 тысяч долларов штрафа за первое нарушение, тюремное заключение за повторное...

УБИТЬ «ИНОПЛАНЕТЯНИНА». Пока на самом «верху» — в Белом доме, в Пентагоне — раздувают кампанию в пользу ведения «звездных войн», пока гиганты военно-промышленного комплекса дерутся за лучшие куски «военно-звездного» пирога, «внизу», где и аппетиты поскромнее, да и амбиции не столь глобальны, без дела тоже не сидят, на все лады используя раздуваемую в стране страсть к насилию. Новый шаг в изобретении игр на тему «Как кого-нибудь убить» предпринял некий электронщик Джим Дули. Идея в общих чертах такова: любителю острых ощущений за пять долларов надевают на голову шлем-компьютер, суют в руку электронный пистолет и отправляют в лабиринт. Дальше поворачивайся и изворачивайся сам. Правила просты: убить любого неожиданно появившегося «инопланетянина», пока он не убьет тебя. Ну, это примерно такие же правила, какие хотели бы навязать для жизни всему миру там, на самом «верху» Америки...

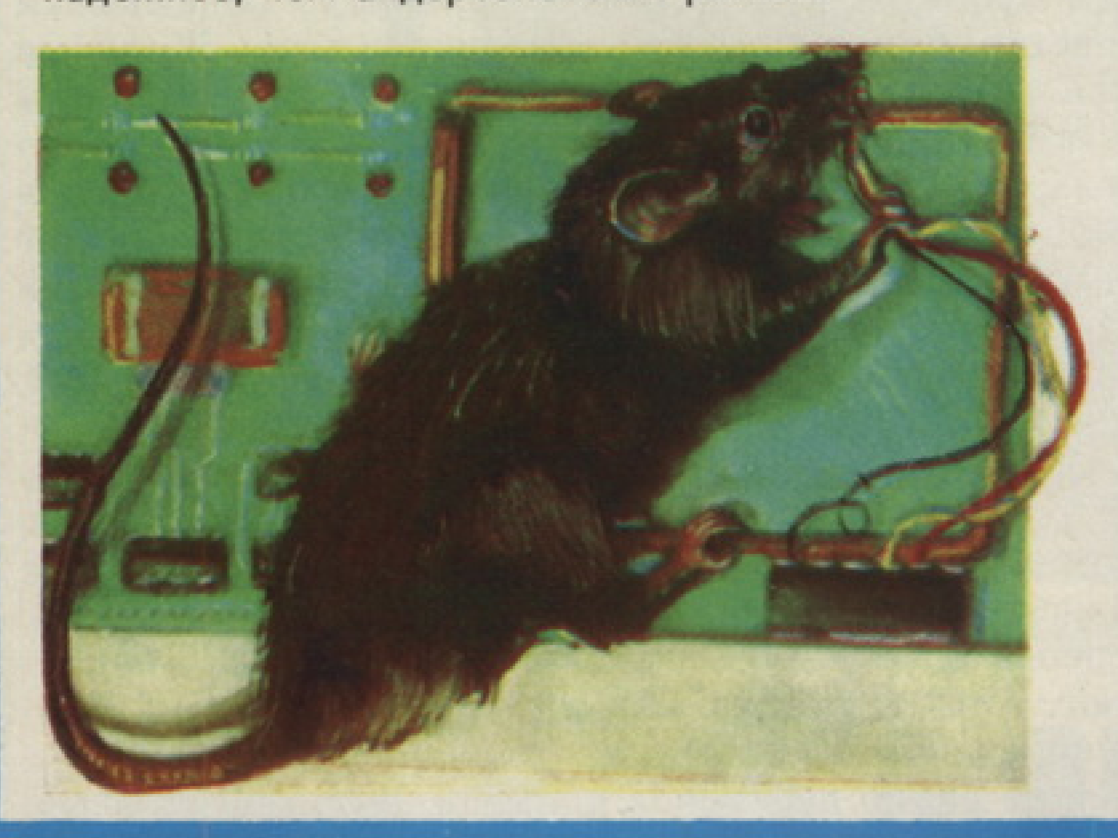




КАКОВ ЖЕ ПРЕДЕЛ! Каждый новый спортивный рекорд вызывает вопрос: каков же потолок человеческих возможностей? В 1916 году был высказан следующий прогноз: «Вероятность улучшения результатов на дистанциях от 200 до 5 тысяч метров крайне ничтожна». В 1934 году был составлен целый список рекордов, превзойти которые, казалось, вообще невозможно. Ни один из них не продержался и до 1970 года. Теперешние прогнозисты в своих оценках опираются на электронику, но... все результаты, исключая бег на 10 тысяч метров, предсказанные в 1960 году, в 1982 оказались перекрытыми. И все же, что сегодня прогнозирует машина на 2000 год: 100 м — 9,85 секунды; 200 — 19,50; 400 — 43,20; 5000 — 12,45 минуты; 10 000 — 26,30... Что ж, поживем — увидим...

ДЖАЗ-БУМ. Итальянская печать сообщает о настоящем взрыве интереса к джазу. Во многих городах возникают своего рода курсы «повышения квалификации». Характерен также поворот интереса от недавно модного джаза усложненного, «авангардного» к традиционному, в том числе в стиле нью-орлеанского диксиленда. Возможно, этот факт объясняется именно массовостью увлечения; стиль невольно становится более доступным и демократичным, поскольку сегодня сотни студентов, адвокатов, врачей, таксистов, сантехников и служащих ежевечерне превращаются в участников самодеятельных квартетов, секстетов и даже целых бигбэндов.

ВКУСНЕЕ СЫРА, СЛАЩЕ МОЛОКА для этих тварей зов его рожка. Так говорилось о крысах в сказке Андерсена. В Японии же обнаружили, что еще привлекательнее для этих грызунов современные электронные устройства, точнее говоря, ультразвуковые сигналы, излучаемые этими системами. Настырные грызуны повинны по меньшей мере в 30 процентах поломок компьютеров. Биологи пока что не пришли к единому мнению о том, какую роль играет ультразвук в межкрысином общении, но инженерам эти тонкости и не понадобились: они решили найти управу на крыс, используя именно их тягу к ультразвуку. Этакий ультразвуковой бумеранг, или, точнее, ультразвуковая ловушка, перехватывающая грызунов у компьютеров. Правда, зоологи не думают, что проблема решена раз и навсегда: не исключено, что в скором времени у крыс закрепится обратная реакция на ультразвук как на сигнал опасности. Все же пока такая ловушка надежнее, чем андерсеновский рожок.





«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» — так называется новый фильм, поставленный французским режиссером Аланом Бонно, и первым в этом списке (среди исполнителей главных ролей, разумеется) стоит имя Ани Жирардо. Содержание фильма трагично: на глазах матери убивают дочь, и она решает взять на себя роль мстителя. Ани Жирардо немало снималась в фильмах, где было так мало добра и так много несправедливости. Но преступление за преступление?.. Похоже, что это своеобразный ответ авторов картины на рост преступности в стране; не случайно 60 процентов зрителей, опрошенных журналом «Пари-матч», сказали, что они тоже особых надежд на помощь полиции не питают. Сама же Ани Жирардо говорит так: «Для них, для зрителей, я вовсе не далекая «звезда». Я скорее их сестра, и горести у нас общие...»



А ВПЕРЕДИ АДОВА РАБОТА. Чудотворца ждали, как положено, с неба. Все было готово: в Неаполе о нем пели песни на специально устроенном фестивале, его имя красовалось на майках, знаменах, в витринах обувных магазинов и в меню пиццерий. Но Диего Марадонна, быть может, самый талантливый футболист наших дней, не спустился на поле ревущего, визжащего, улюлюкающего и шлющего смачные поцелуи 60-тысячного стадиона на вертолете, а появился на арене стадиона, выйдя из машины как простой смертный. Долго еще после того, как Марадонна, перекупленный местной командой «Наполи» у «Барселоны» за астрономическую сумму, уехал со стадиона, бесновались болельщики, но потом наступили и будни. Теперь «чудотворцу» надо адским трудом отрабатывать на поле восторженные ожидания темпераментных и не очень-то верных «тиффози» и... уплаченные за него доллары.

ЖМИ НА ПЕДАЛИ, ДАСТИН! «Прежде чем сняться в «Марафонце», я полгода потел, чтоб научиться прилично бегать». Это говорит Дастин Хоффман, объясняя, зачем он приехал на очередной велосипедный марафон «Тур де Франс». В этом году он собирается сняться в главной роли фильма режиссера Майкла Чимино «Желтая майка». Это роль бывшего гонщика, который вдруг понимает, что раньше ему не везло именно потому, что он не верил в себя. И вот он снова в седле, снова через силу жмет на педали, едва не падая от усталости, преодолевает себя и бесконечные километры. «Чтоб увидеть все это, чтоб увидеть этих ребят и понять, откуда они, черт возьми, берут силы, я и проехал всю гонку. Пока, правда, в машине сопровождения».





Рис. А. СЕМЕНОВА

КАК МЫ ТУШИЛИ ПОЖАРЫ

Радек ЙОН,
чехословацкий журналист

Вечерний автобус везет меня из Неаполя в Казерту, где находится лагерь добровольцев, приехавших со всех концов света в Италию тушить лесные пожары. Добровольцы работают бесплатно, только за стол и ночлег.

— Добрый вечер, я из Чехословакии, меня зовут...— выдаю я заранее приготовленную фразу.

Общежитие на площади Пиацца Ванвителли. Большая комната, много стульев и каких-то игрушечных креслиц. У стола человек тридцать ребят и девушек, кто-то играет на гитаре.

— Привет. Откуда ты взялся? — слышу по-чешски.

Здесь, в лагере,, двадцать пять ребят и девушек, все из Чехословакии.

Под окном зафурчала машина: вернулась бригада с пожара. Лица в саже, волосы слиплись от пота, экзотические комбинезоны, и сразу же очередь в душ.

— Такого, как сегодня, я еще не видал,— говорит парень, настоящий Отелло.

— Вся неделя такая, два-три пожара в день, да еще ночью.

Мне показывают свободный матрац на полу, мы укладываемся спать.

— Фуоко! Фуоко! (Горит! Горит!) — В открытую дверь слышен топот по лестнице, щелчок выключателя, свет лампы режет глаза, в мегафон что-то кричат по-итальянски. Все вскочили и быстро одеваются.

— Комбинезон и сапоги там, в углу.— Это уже мне.

В углу сильно пахнет паленым. Грязные, пропитанные потом комбинезоны с неожиданной надписью: «Олио «Фиат» («Масло «Фиат»). Влезаю в один из них. Сапоги мне достались обгорелые, съежившиеся и полные пепла внутри. Оба немилосердно жмут: малы.

— Эй, франт, иди сюда! — кричит мне Дада.

«Джип» с надписью на борту «Компания «Фиат» нетерпеливо сигналит у дверей. За ним вездеход «тойота». Мне суют в руку палку, на одном ее конце девять поясков резины. Дубинка для гигантов. Итальянцы называют ее флабелло. Грузимся в «джип» и вот уже несемся по Казерте. В узеньких улочках ночные прохожие и жирные коты одинаково ловко увертываются из-под колес. Воют все городские псы. Водитель-итальянец перед поворотом сверкнет фарами дальнего света, а уж там пусть каждый решает, что ему делать. На спидометре 90, но кажется, что скорость больше.

Мотор ревет от натуги, кружимся по серпантинам над Казертой. Время от времени нам открывается вид на ночной город — узенькая полоска ровной земли метров на семьсот тянется параллельно шоссе. Водитель по радио говорит с оперативным центром, уточняет, где огонь.

Наконец приехали. Выходим из машины в тишину и покой итальянской ночи. Вокруг только стрекот цикад. Дневной жар не успел остыть — сейчас градусов 35 Цельсия. Силуэты гор сливаются со звездным небом.

— Там,— говорит Дада. Теперь уже слышу и я: треск горящих сучьев и завывание огня где-то над нами. В абсолютной тьме с флабелло в руке мы карабкаемся вверх по склонам, цепляемся за почти невидимые ветви, колючки ежевики раздирают ладони. Кожаные голенища уже давно превратились в орудие пытки. Наконец розовый отсвет пожара освещает чащу перед нами. В середине огонь ярче. Окружаем кустарники, с помощью флабелло обламываем колючие ветви, чтобы на них не перескочил огонь. Колючки цепляются за комбинезон, палит лицо, мы уже работаем прямо в огне. При всей фантастической технике, радиопередатчиках, «джипах» каждый из нас машет без остановки своим флабелло, сбивает и затаптывает огонь. Надо прежде всего загасить языки пламени, пока жар, дым и недостаток кислорода не вынудят нас выйти из огня. Голову жжет как под слишком горячим феном, отворачиваю от огня лицо, трудно дышать, пламя выжгло весь кислород.

Кругом снова тьма, только кое-где тлеют непотушенные угольки. Легкие полны дымом, сердце стучит как бешеное, голову стягивает невидимый обруч, кажется, что в глаза кто-то бросил горсть песку. Комбинезон промок от пота, горячий пепел жжет сквозь подошвы, будто к ногам приложили утюг. Можно отойти метра на два в сторону, передохнуть, надышаться недымным воздухом.

Наконец не видно ни языков пламени, ни розовых углей, только над травой курится беловатый дымок.

— На, попей.— Карел подает мне бутылку воды.

Вода, хоть и противно-теплая, немного смягчает жжение во рту и горле.

— Пей больше, вода — это все. В организме у пожарника должно быть много жидкости. А то начнется обезвоживание, и пропал: почки сразу дадут о себе знать.

— Вот это да,— бурно радуюсь я.— Оказывается, мы тут тушим пожары под наблюдением врача.

— Ветеринара,— уточняет Карел.

Сапоги жмут все сильнее, и, как подумаю, что в них мне еще спускаться по скалам, махание флабелло кажется детской забавой. Два-три дерева все еще тлеют посреди выжженной земли. Деревья без воды потушить невозможно. А воду сюда, в горы, кроме как вертолетом не доставишь.

— Все, уходим,— говорит итальянский командир нашей бригады.

— А если от этих деревьев снова загорится, нам придется опять сюда лезть,— говорю я. Командир не слышит или делает вид.

— Очень ему надо,— замечает Ирко.— Он «свой» пожар потушил.



Мы спускаемся к шоссе, садимся на еще теплый от дневной жары асфальт спина к спине. Ирко светит фонариком, девушки по очереди вытаскивают у нас занозы из ладоней.

От одного к другому переходит сигарета, все молчат, вдыхают теплый южный ветер, осматриваются вокруг. Несколько мгновений космического покоя под звездным небом, горы, высящиеся вокруг насколько хватает глаз, огоньки Казерты в долине под нами. Меня охватывает чувство братства, благодарности ко всем, кто сидит тут на асфальте, за то, что взяли меня с собой, приняли. Хочу, чтобы мне запомнилась эта теплая ночь, силуэты гор и огоньки под нами. Туристы никогда ничего подобного не почувствуют. Общая бутылка воды, общая сигарета... совсем так же, как когда-то в школе на уборке хмеля или в походах.

— Послушай, ты не сердись. Ты бы мог не ходить, ты ж только приехал, но мы хотели, чтобы ребята поспали, те, что с пожара.

Это говорит Дада. Я смеюсь. А если б я вздумал благодарить?

Мы поспали минут десять. На этот раз горит заботливо ухоженный частный лес. Кто-то отодвигает шагбаум, и мы едем по частной дороге между пылающими частными соснами. Здесь особенно много не сделаешь. Надо только отгрести сухую хвою, чтобы по ней огонь не перекинулся дальше, выкопать ров в несколько десятков метров вокруг огня и надеяться, что не будет ветра. Сколько времени мы вшестером будем копать такой ров? Потрескивают горящие сосны. Начинает светать.

— Разве не глупо устроить поджог в четыре утра? — ворчит Карел.

По лесной дороге едет трактор с тремя крестьянами в кабине. Троица как из фильмов неореализма. Черные глаза, небритые лица, белые рубашки, мятые шляпы. Не остановились, только кивнули нам и поехали дальше.

— Теперь подожгут в другом конце леса,— говорит Ирко.

— Зачем? — не понимаю я.

— Нормальное дело. А ты думаешь, в четыре утра лес может вспыхнуть сам?

— Вторая бригада на прошлой неделе нашла канистру из-под бензина прямо возле огня,— говорит Карел.

— Но зачем? — не могу понять я.

— Очень просто. Есть закон: землю, занятую лесом, продавать нельзя. Так что, если владелец хочет продать кусок земли, сначала он должен уничтожить лес,— объясняет Дада.

— Поджог можно устроить собственными силами или обратиться в специальную службу бытовых услуг,— смеется Карел.— Называется каморра. Платишь деньги — получаешь пожар. Не понимаешь? А на юге она называется мафия.

— Лес застрахован, владелец получает страховку, и продажа земли идет без помех. С глазу на глаз тебе в Казерте каждый несколько случаев расскажет,— заканчивает Дада.

Мы выкопали неглубокий ров метров двадцать по окружности и валимся на землю от усталости. На счастье, на этот раз нам в помощь позвали армию. «Джип» и «тойота» привезли солдат. Но, очевидно, забыли прихватить командира. Солдаты улеглись на землю, курят, фотографируются, как будто рядом не горят деревья. Мы начинаем углублять ров и потихоньку злимся. Это спокойствие на пожаре для нас необъяснимо.

Наконец ров выкопан как надо, деревья сгорели, огонь сник. У всех одно желание — под душ и спать. Влезаем в машину...

— Нет, нет,— вертит головой водитель Николо.— Выходите,— показывает рукой.— Сначала я отвезу солдат.

Солдаты засыпают землей обгоревшие пни и угли, пока они закончат, «джип» успеет два раза обернуться.

— Ты же успеешь...— начинаю я, но Николо и слушать не хочет.

— Оставь ты его,— успокаивает меня Дада.— Их тут два таких... Этот, а еще есть Франческо.

Выпала роса. Нас бьет озноб. Вся бригада уже сутки не спала.

— Чудно,— говорит Ирко.— Они, в Казерте, думают так: раз мы добровольно приехали тушить пожары, значит, мы кретины, да еще денег не берем.— Он кидает на землю свой флабелло, сам растягивается рядом.

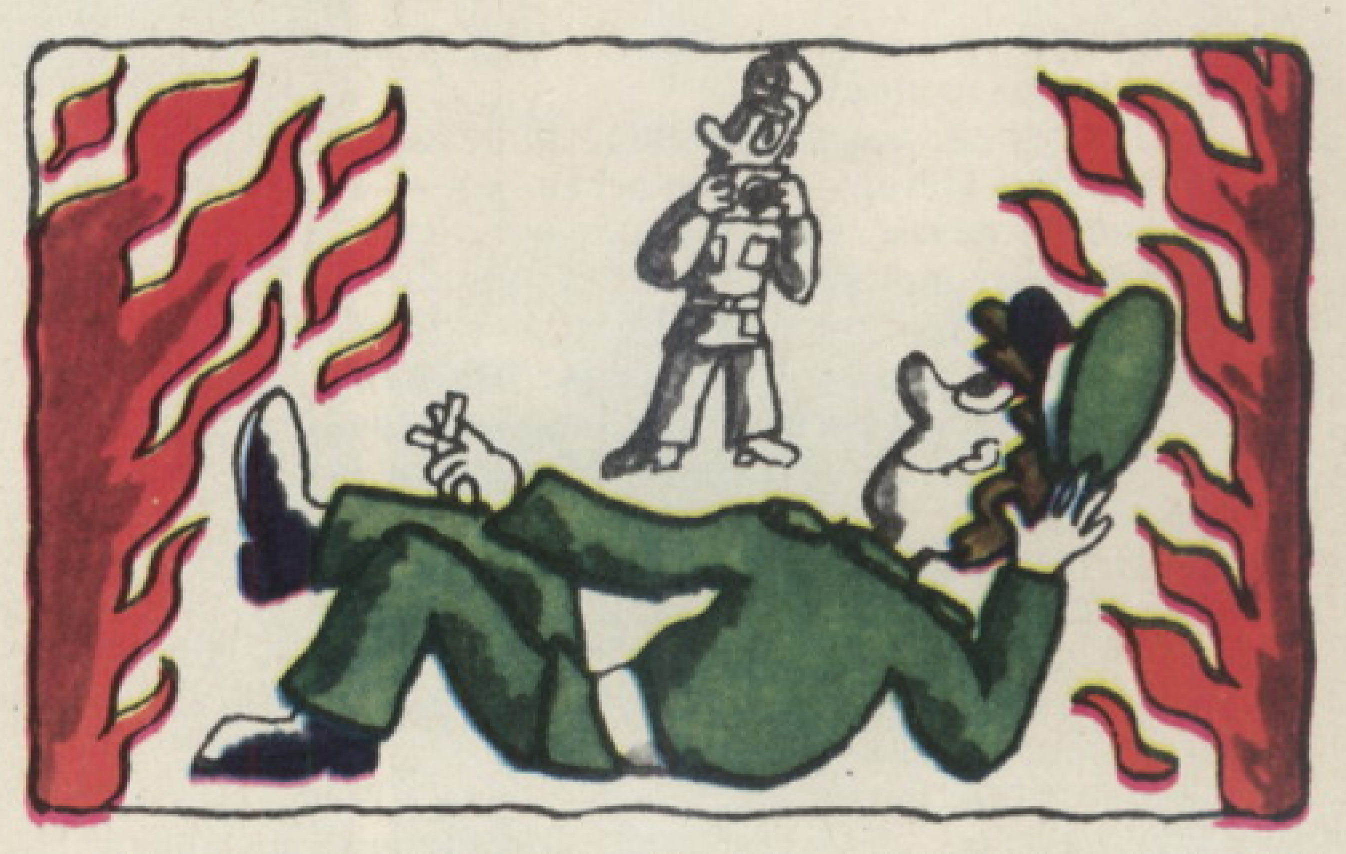
Солдаты наконец закончили работу и садятся в машины.

— Я за вами пришлю «джип»,— обещает Николо.

Мы сидим у дороги, молчим, глаза слипаются. Наконец появляется «джип». Едем серпантинами вниз и у первой же деревни видим солдат, которые возятся у своих грузовиков. Значит, в Казерту Николо уехал на пустой машине? Или отправился куда-то по своим делам?

— Получается так, что с нами он может не считаться,— бурчит Дада.

После душа мы немного пришли в себя, и теперь нам хочется прежде всего есть. Те, кто вчера вернулся с пожара после одиннадцати, не ели уже сутки. Наконец появляется Николо, раздает талончики на обед и сам первый отправляется в ресторан на площади.



«Манджаре, манджаре» (обедать, обедать) звучит для нас как небесная музыка. На площади, шагах в десяти от ресторана, нас догоняет Франческо.

— Фуоко! Фуоко! — запыхавшись, кричит он.— Но манджаре! Фуоко! — Руками он показывает, что мы должны бежать к машинам.

Запахи ресторана невыносимо притягательны.

— Пусть один пожар они потушат без нас,— говорит кто-то.

— Быстро манджаре и быстро фуоко,— предлагает Ирко. Все смеются.

— Ты не понимаешь,— объясняет мне Ирко.— Тут все по-другому. Если мы сейчас уедем, обед автоматически пропадет, будто мы его съели. Кому-то это на руку, а мы вернемся и будем ждать ужина.

Пиццерия Солетти обладает просто магнетической силой. Франческо тупо смотрит на нас, потом мчится куда-то.

Мы рассаживаемся в холодке, полные решимости сначала «манджаре», а потом «фуоко».

— Чудаки,— размышляет Карел.— Если бы человек знал, что ему прямо на место, где он тушит огонь, привезут кусок хлеба, не было бы никаких проблем.

— Ну как ты не поймешь — это же никому не надо. Ведь если лес горит, ничей личный карман не страдает.

Вдруг появляется сам Солетти, полнота хозяина пиццерии — лучшая реклама его заведению.

— Звонили из оперативного центра, приказали обед вам не давать.

Наступает гробовая тишина.

— Это уж слишком,— взрывается Ирко.

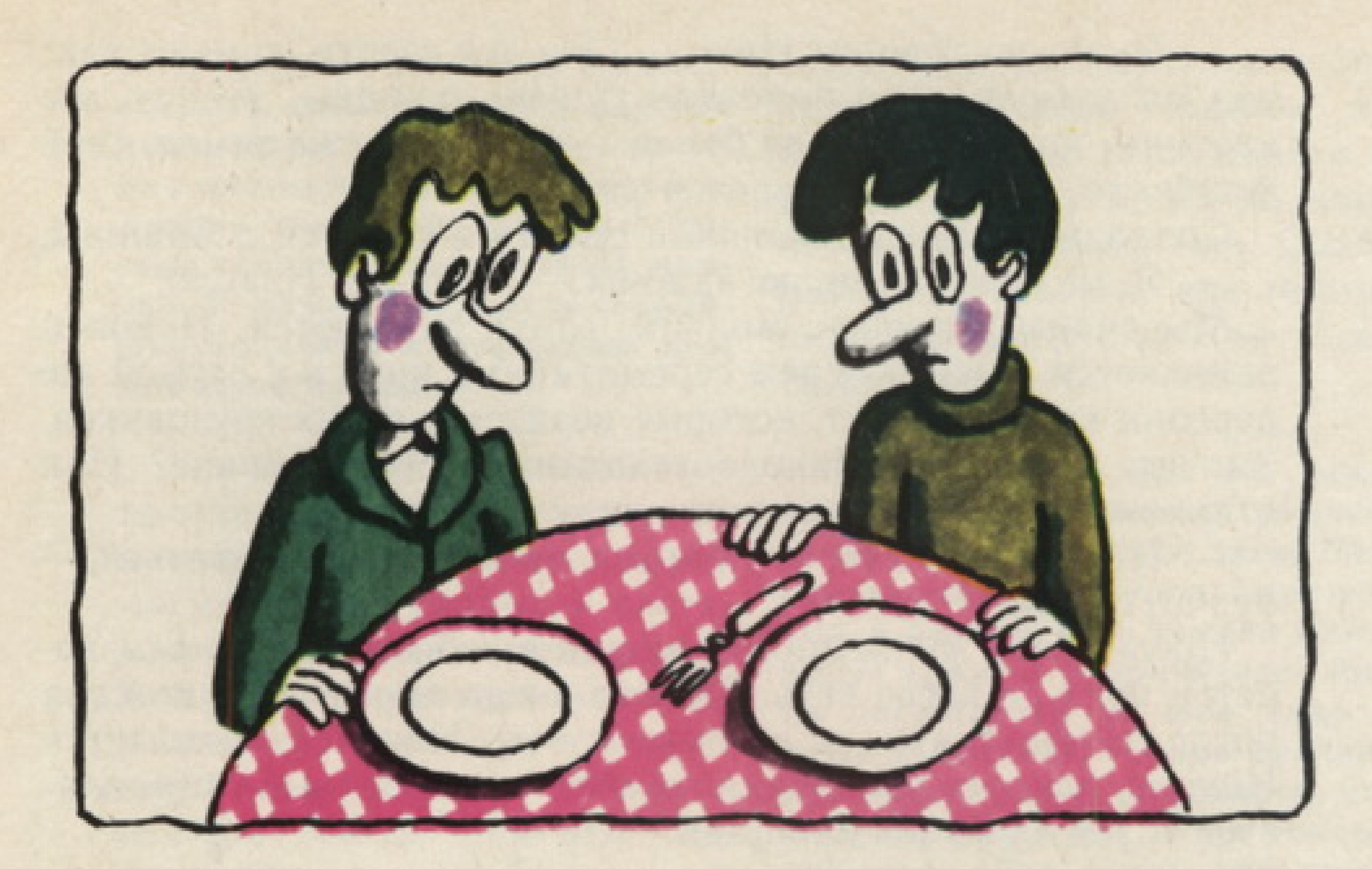
— Все, хватит, собираем вещи и домой! — кричит Радо.

— Им только этого и надо,— замечает Люба. (Под «ними» она подразумевает каморру и ее клиентов.)

Перед оперативным центром стоит «джип». Мы влезаем в машину взъерошенные и злые.

— Первая бригада... только первая бригада! — кричит Николо.— Стефания, Карлос, Петер, Иван, Алена, Люба,— читает он по списку шесть имен.

Петер и Иван не были с нами в ресторане, они стоят готовые, в комбинезонах.



— Минутку,— говорит Радо.— Мы решили не ехать, и вообще их надо проучить.

— Послушай, мы зачем сюда приехали? Тушить пожары,— говорит Петер.— А все остальное — внутренние дела, мы в них не лезем. Ясно?

— А почему они условия не соблюдают? — кричит Радо.

— Ну хватит,— говорит Петер,— там лес горит.

Алена уже в комбинезоне сидит в машине.

— Я в первой бригаде, не могу же я ребят подвести,— говорит Стефания.— Вы идите обедать, а мы выдержим,— добавляет она.

Из шести названных не едет только Карел.

— Я поеду вместо тебя, ладно? — говорит Зденек, товарищ Петера.— И нет проблем.

— Проблемы уже давно есть,— говорит Дада вслед отъезжающему «джипу».

Мы понуро возвращаемся в ресторан. Пьем вино, накручиваем на вилку спагетти и не смотрим друг на друга. Но все же начатое надо закончить, мы идем на почту и звоним шефу всех лагерей добровольных пожарников. Его нет дома, сегодня воскресенье, и он проводит уик-энд на своей вилле у моря. Вернется вечером. Ничего, до вечера наш запал не пройдет. Это уж Николо и Франческо могут быть спокойны.

К нам приезжает шеф добровольных пожарных дружин. Серьезный господин лет за пятьдесят, он все понимает, хотя мы не все ему говорим. Он проводит какую-то перестановку в оперативном центре. Теперь со всеми своими проблемами мы должны выходить прямо на него. За наш быт здесь ответственным назначается Приско, симпатичный итальянский доброволец. Кроме него, никто не имеет права нам приказывать. Николо только водитель, обязан подчиняться приказам и соблюдать дисциплину. Так что наша мини-забастовка не была напрасной. Забастовка? Просто мы в тот день сильно устали и у нас сдали нервы.

Шеф заказывает всем в ресторане мороженое, мы пожимаем ему руку, улыбаемся. На сегодня проблемы разрешены.

К оперативному центру к вечеру, как всегда, съезжаются машины. Приходит сын Солетти, который нас обслуживает в ресторане на площади, приходит Микеле с телевидения, он тушит пожары в свободное от работы время, приходит господин с толстым животом и лицом обиженного ребенка. Он постоянно делает круги возле наших девушек.

— Моя жена будет обязательно чешка,— твердит он без конца. Пока же он живет один, «с мамой», а нашим девушкам всем по очереди предлагает путешествие на машине по Сицилии, поездку самолетом в Сицилию, теннис и сауну, ежегодное приглашение на лучшие курорты Италии за его счет, замужество. Но все в будущем, а сегодня вечером он хотел бы просто покатать девушек на машине.

— Экзотический тип, тебе надо с ним познакомиться,— говорят девушки и представляют меня господину с толстым животом как журналиста, пищущего репортаж об Италии.

— О, я его повезу в ночной Неаполь! — Это еще один номер из репертуара господина с животом, уже не раз разыгранный.

Люба соглашается поехать с нами. Мы несемся по шоссе.

— Хорошая машина,— говорит господин и просит, чтобы я не упоминал его имени.— Видишь, сто восемьдесят километров...

Неаполь из автомобиля выглядит совсем другим городом, чем Неаполь пешеходов. Проезжаем только по главным улицам. Мимо баров, пиццерий, тратторий, таверн, ресторанов, Римского банка, Национального банка, Банка святого духа... Подъезжаем к набережной, запах гнили, пиццы, жареных кур, рыбы, туалетов, моря. Итальянские и американские матросы с военных кораблей. Столики, где торгуют жареной кукурузой, магнитофонами, пивом, дамским бельем, лимонадом...

— О чем, собственно, ты хочешь писать? — спрашивает меня господин, который не хочет, чтобы я называл его имя.

— О людях, о том, как они живут...

— А мафия? — перебивает он меня.— Шеф мафии в Казерте мой приятель. Однажды у меня угнали машину. Хватило одного звонка. На следующую ночь поставили машину на место, да еще вымыли, подкрасили, привели в полный порядок. Мафия богатая. Здесь взяли, там вернули. Что им одна машина? Приятель в мафии — жить можно.

— А на чем здесь мафия может быть богатой?

— Какая мафия? Большая или малая?

— А есть разница?

— Мафия-пиккола у всех на виду. Крадет по мелочам. Машины, туристы, охрана магазинчиков, тратторий, такси...

— Что значит такси?

— Ни в одном такси нет счетчика, назначает цену водитель. Либо платишь, либо не едешь. А мафия-пиккола следит за ценой.

— А большая?

— Этого никто не знает, хотя кое-что, конечно, просачивается, по мелочам. В Неаполе у нее главный бизнес — сигареты, американские контрабандные с Севера Африки. (В Италии, ты знаешь, государственная монополия на торговлю табаком.) Это работа. Для десяти тысяч упаковщиков и шестидесяти тысяч перекупщиков и продавцов. Наркотики, оптовая продажа. Взрывы.

— Взрывы?

— Видишь вон тот небоскреб? Звонят хозяину и говорят: «Положи десять процентов стоимости здания туда-то или туда-то, не положишь — попрощайся с домом».

— И хозяин верит?

— Были, что не верили, разорились. Дом взлетел в воздух, завод взлетел в воздух. Потом перекупка земли. Мафия так богата, что может вкладывать деньги и в легальные предприятия. Вино, шампанское, ужин над морем? — Господин, который хочет остаться анонимом, бросает руль и поворачивается к девушке на заднем сиденье. На улицах Неаполя это равносильно самоубийству.— Твое желание — закон,— говорит он и останавливается возле жаровни с воздушной кукурузой.

Ужин с шампанским оборачивается тремя пакетиками воздушной кукурузы.

— Ну что? Показал он тебе револьвер? — спрашивают меня ребята, когда мы возвращаемся.— Не показал? Не может быть.

Алена подходит к меценату и просит:

— Покажите.

— Нет проблем.— Он вытаскивает из кармана огромный кольт. Вынимает из него патроны и подает мне.

— Тридцать восьмой калибр. Сделает в парне дырку с кулак.

Я подкидываю кольт в руке, хорошенькое соседство во время ночной экскурсии. «Made in USA»,— выбито под барабаном. Я целюсь в стену.

— Нет, нет! — кричит хозяин кольта и выхватывает у меня револьвер.— Ну и что ж, что не заряжен! Кстати, забудь мое имя, если ненароком проскочит в твоем репортаже, я узнаю. Жалко, ты приятный парень.— Он вертит револьвером у меня перед носом.

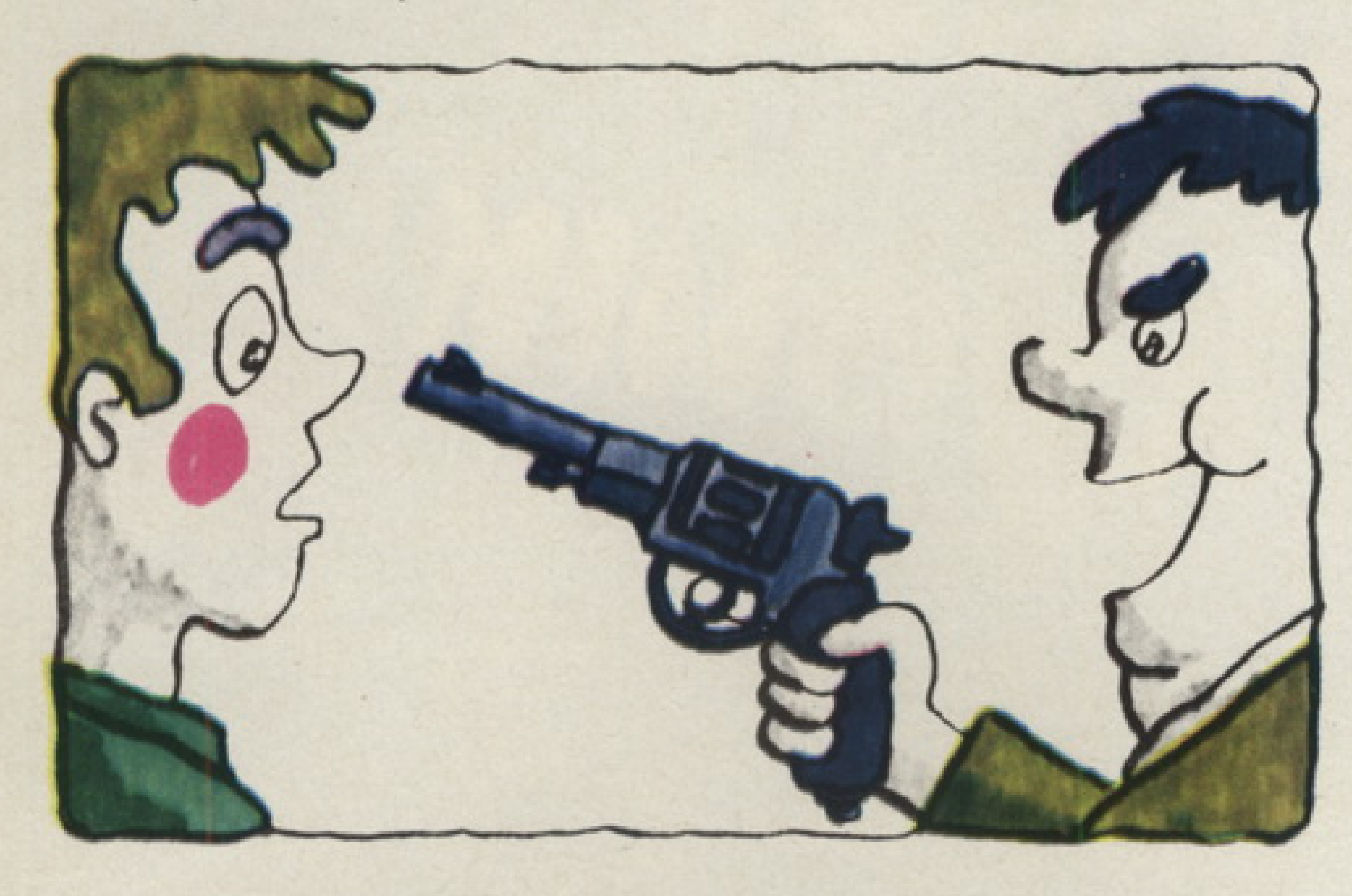
— Конечно, если вы так хотите... Но почему?

— Хочу выставить свою кандидатуру в муниципалитет, может быть, даже на мэра...

И он повторяет свой рассказ про приятеля в мафии, добавляя, что мафия хотела бы иметь своего и в то же время «чистого» человека в местном самоуправлении.

Мне кажется, он меня разыгрывает, ведь так бывает только в плохих детективах.

Штаб пожарников-добровольцев на площади светит всеми окнами, доносится смесь итальянских, чешских, английских слов, смех. Мне не хочется идти внутрь. Сегодня у нас был первый свободный день. Перед этим шесть дней подряд почти без еды и сна мы тушили пожары. За это шеф распорядился оплатить чехословацким добровольцам билеты в любой пункт страны, расположенный, однако, не далее 75 километров от Казерты. Я съездил в Помпею, и вид города, уничтоженного и похороненного под шестиметровым слоем пепла, извергнутого Везувием двадцать веков назад, стоит у меня перед глазами.



Наши рассказывают о своих приключениях в Неаполе.

На Везувий ребята поднимались одни. Господин аноним остался на стоянке сторожить машину.

— Мы лезли в гору целый час, и почти у кратера нашли будку: «Вход 1200 лир»,— рассказывает Карел.

— А билеты купили внизу — тысяча лир, оказывается, они фальшивые,— смеется Ирко.

— Все указатели дороги к Везувию как решето. Не иначе там итальянцы тренируются в стрельбе,— удивляется Радо.

— Представляешь,— говорит Карел,— приехали на стоянку три одинаковых BMW, вышли три одинаковых семьи, купили билеты, полезли вверх. Папа, мама и по двое детей. Спустились — ни одной BMW. Как ветром сдуло, никто и не заметил.

— А я вам гарантировал на девяносто девять процентов,— довольно говорит будущий мэр,— в Неаполь они пойдут пешком.

После обеда к нам приезжает шеф. Он хочет, чтобы у нас остались прекрасные впечатления от работы в Италии. Он организует выезд в музей в Капую. Музей после землетрясения 1980 года закрыт, но имя и присутствие господина Форлани открывает любые двери. Господин Форлани, человек в полувоенной форме с вечной жевательной резинкой во рту, увлеченно и с удовольствием рассказывает историю Неаполя.

— Здесь, в Капуе, в гладиаторской школе учился Спартак. Когда восстание было подавлено, римляне распяли на крестах мятежников вдоль всей Аппиевой дороги от Рима до самой Капуи,— рассказывает он.

— А здесь остались где-нибудь следы Аппиевой дороги? — спрашиваю я.

— Мы по ней едем. Она в пяти метрах под нами. Река Волтурно постоянно наносит ил и песок. Но если начнете раскопки — везде остатки античных построек, обломки ваз, амфор. Я член комиссии, которая наблюдает за всеми новыми постройками в этих местах. Наша задача — не допустить, чтобы новое строительство повредило культурные памятники или окружающую среду. Без нашего одобрения нельзя заложить ни один фундамент.

— Вас, наверное, не любят предприниматели? — спрашиваю я господина Форлани.— Вы же им мешаете.

— Не любят. Если б видели, какие анонимки я получаю, а какие угрозы выслушиваю по телефону... За восемь месяцев у меня угнали и разбили одиннадцать машин.

— И вы сдались?

— Нет. Вот смотрите, справа от дороги низкая кирпичная стена, это античная тюрьма.

— И вы ни разу не разрешили ни одной стройки против своих убеждений?

— Вы не поверите: чем больше мне грозят, тем тверже я стою на своем.

— А бывает вам страшно?

— Никогда,— без минуты колебаний провозглашает господин Форлани.

Мчимся с сиреной по узким улочкам. Горят 3—4-метровые плети лесного ореха, кусты ежевики и всего два-три дерева. Единственная возможность подойти к огню — обойти его и подняться с другой стороны. Слышны голоса, и в ущелье прямо над нами вспыхивает еще один пожар. Если пламя распространится дальше, мы окажемся меж двух огней. Недавно в такой переплет попала итальянская бригада, спасали их вертолетом. Приско передает мне бутылку с водой. Ласково улыбается. Я как-то спросил его, что за люди итальянские пожарники. Он пожал плечами.

— Одни занимаются этим всегда, другие — в свободное от работы время, студенты — в каникулы. Есть двое ребят из Казерты, эти тушить пожары считают своим моральным долгом. Если вовремя приехать — много можно сделать. Некоторые не нашли другой работы, а здесь кормят и компания подходящая.

Вечер, сидим на лавочке посреди площади, опираемся на флабелло, как на жезлы. Ждем «фуоко! фуоко!» и в машину. Сегодня наш последний вечер, завтра большинство чехословацких добровольцев уезжают домой. Остается только одна бригада, она введет в курс дела новую партию добровольных пожарников.

Будущий мэр тут как тут и снова твердит, что женится только на чешке, предлагает блондинке из Брно прогулку на автомобиле по Сицилии, поездку самолетом в Сицилию, ужин над морем. Новые добровольцы — старый репертуар.

Мы везем новичков на очередной пожар. Горит несколько гектаров леса, на этот раз огонь не по нашим силам. Итальянский командир вызывает по радио самолет. Мы лежим в винограднике и ждем. Зеленый виноград, сладкий и терпкий, кажется лучше зрелого.

Самолета нет: у пилота послеобеденная сиеста.

— В субботу и воскресенье летчики тоже не летают: они отдыхают у моря,— мечтательно говорит Ирко.

Лес пылает, огонь распространяется все дальше и дальше.

— Тут всегда так? — спрашивают новички.

— Такого еще не было,— сердито говорит Стефания.

Вдали послышался стрекот самолета. Мы становимся в ряд, чтобы пилот видел, откуда начинать. Самолет летит над нами, гидроплан с оборудованием на тысячу литров воды.

Я прощаюсь с Казертой. Друг мафиози и кандидат в мэры напоследок снабжает меня советами:

— Если у иностранца ничего нет, у него и забот нет,— говорит он.— Нельзя приезжать в Неаполь на машине и с большими деньгами. Все потеряешь. Никогда не ходи возле государственных учреждений и частных контор, где много машин. Любая может взлететь в воздух, и ты вместе с ней. Не фотографируй карабинеров в пуленепробиваемых жилетах перед входом в банк или какое-нибудь учреждение. У них нервы на взводе. Услышат щелчок и выпустят всю очередь в тебя.

Его советы, к счастью, мне не пригодились. Казерту я теперь вспоминаю с добрым чувством, несмотря на все нелепости, с которыми там столкнулся.

Сокращенный перевод с чешского
Д. ПРОШУНИНОЙ



Они встретились случайно в баре аэропорта Кеннеди.

— Джимми? Джимми Маккэнн?

Сколько воды утекло после их последней встречи на выставке в Атланте! С тех пор Джимми несколько располнел, но все равно был в отличной форме.

— Дик Моррисон?

— Точно. Здорово выглядишь.— Они пожали руки.

— Ты тоже,— сказал Маккэнн, но Моррисон знал, что это неправда. Он слишком много работал, ел и курил.

— Кого-нибудь встречаешь, Джимми?

— Нет. Лечу в Майами на совещание.

— Все еще работаешь в фирме «Крэгер и Бартон»?

— Я теперь у них вице-президент.

— Вот это да! Поздравляю! Когда тебя назначили? — Моррисон попробовал убедить себя, что желудок у него схватило не от зависти.

— В августе. До этого в моей жизни произошли большие изменения. Это может тебя заинтересовать.

— Разумеется, мне очень интересно.

— Я был в поганой форме,— начал Маккэнн.— Неурядицы с женой, отец умер от инфаркта, меня начал мучить жуткий кашель. Как-то в мой кабинет зашел Бобби Крэгер и энергично, как бы по-отцовски, поговорил со мной. Помнишь эти разговоры?

— Еще бы! — Моррисон полтора года работал у Крэгера и Бартона, а потом перешел в агентство «Мортон».— «Или возьми себя в руки, или пошел вон».

Маккэнн рассмеялся.

— Ты же знаешь. Доктор мне сказал: «У вас язва в начальной стадии, бросайте курить». С тем же успехом он мог сказать мне: «Бросайте дышать!»

Моррисон с отвращением посмотрел на свою сигарету и погасил ее, зная, что тут же закурит новую.

— И ты бросил курить?

— Бросил. Сначала даже не думал, что смогу: курил украдкой при первой возможности. Потом встретил парня, который рассказал мне про корпорацию на Сорок шестой улице. Это настоящие специалисты. Терять мне было нечего — я пошел к ним. С тех пор не курю.

— Они пичкали тебя какими-то препаратами?

— Нет.— Маккэнн достал бумажник и начал в нем рыться.— Вот. Помню, она у меня где-то завалялась.— Он положил на стойку визитную карточку:

КОРПОРАЦИЯ
«БРОСАЙТЕ КУРИТЬ»
Остановитесь! Ваше здоровье улетучивается с дымом!
237 Ист, Сорок шестая улица.
Лечение
по предварительной договоренности.

— Хочешь, оставь себе,— сказал Маккэнн.— Они тебя вылечат. Даю гарантию.

— Как?

— Не имею права говорить — есть такой пункт в контракте, который с ними подписываешь. Во время первой беседы они тебе все расскажут. Девяносто восемь процентов их клиентов бросают курить.

— Ты, наверно, растолстел, как бросил курить? — спросил Моррисон, и ему показалось, что Джимми Маккэнн както сразу помрачнел.

— Даже слишком. Но я согнал лишний вес...

— Рейс двести шесть,— объявил громкоговоритель.

— Мой,— сказал Маккэнн и поднялся.— Подумай, Дик.

Он пошел через толпу к эскалаторам. Моррисон взял карточку, задумчиво изучил, спрятал в бумажник и забыл про нее.

Через месяц карточка выпала из бумажника Моррисона на стойку другого бара. Дела на работе шли неважно. Откровенно говоря, дела были ни к черту.

Моррисон еще раз прочел адрес на карточке — корпорация находилась в двух кварталах, стоял солнечный, прохладный октябрьский день; может, ради смеха...

Корпорация «Бросайте курить» помещалась в новом здании, в таких домах арендная плата за кабинет, наверно, равнялась годовой зарплате Моррисона. По указателю в вестибюле он понял, что «Бросайте курить» занимает целый этаж, значит, деньги у них есть, причем очень большие.

Он поднялся на лифте. В элегантной приемной сидела секретарша.

— Один мой друг дал мне эту визитную карточку. Он вас очень хвалил.

Она улыбнулась и вставила анкету в пишущую машинку:

— Ваше имя и фамилия? Адрес? Женаты?

— Да.

— Дети есть?

— Один ребенок.— Он подумал об Элвине и слегка нахмурился. Его сын был умственно отсталым и жил в специальном интернате в Нью-Джерси.

— Кто порекомендовал вам обратиться сюда, мистер Моррисон?

— Джеймс Маккэнн. Мы с ним вместе учились.

— Присядьте, пожалуйста. У нас сегодня много народу.

Он сел между женщиной в строгом голубом костюме и молодым человеком в твидовом пиджаке, достал пачку сигарет, увидел, что вокруг нет пепельниц, и спрятал сигареты. Если они заставят долго ждать, можно даже будет стряхнуть пепел на их шикарный коричневый ковер. Его вызвали через пятнадцать минут вслед за женщиной в голубом костюме. Коренастый мужчина с такими белоснежными волосами,



что они казались париком, любезно пожал ему руку и сказал:

— Пойдемте со мной, мистер Моррисон.

Он повел Моррисона по коридору мимо закрытых дверей, одну из которых открыл своим ключом. Комната обставлена по-спартански: стол и два стула. В стене за столом, очевидно, проделано небольшое окошко, его закрывает короткая зеленая занавеска. На стене слева от Моррисона картина: высокий седой человек с листком бумаги в руке. Лицо его показалось Моррисону знакомым.

— Меня зовут Вик Донатти,— сказал коренастый.— Если согласитесь пройти наш курс, я буду заниматься с вами.

— Рад познакомиться.— Моррисону ужасно хотелось курить.

— Садитесь.

Донатти положил на стол заполненную машинисткой анкету и достал из ящика стола новую:

— Вы действительно хотите бросить курить?

Моррисон откашлялся, положил ногу на ногу.

— Да.

— Подпишите вот эту бумагу.— Он протянул бланк Моррисону. Тот быстро пробежал его глазами: нижеподписавшийся обязуется не разглашать методы и так далее, и так далее.

Моррисон нацарапал свою фамилию.

— Отлично,— сказал Донатти.— Мы тут не занимаемся пропагандой, мистер Моррисон. Нас не интересует, почему вы хотите бросить курить. Мы люди деловые, никаких лекарств и препаратов не применяем. Не надо садиться на особую диету. А деньги заплатите, когда год не будете курить. Кстати, как дела у мистера Маккэнна? Все в порядке?

— Да.

— Прекрасно. А сейчас... несколько личных вопросов, мистер Моррисон. Ответы, естественно, останутся в тайне. Как зовут вашу жену?

— Люсинда Моррисон. Девичья фамилия Рэмзи.

— Вы ее любите?

— Да, конечно.

— Вы ссорились с ней? Какое-то время жили врозь?

— Какое это имеет отношение к тому, что я собираюсь бросить курить?

— Имеет. Отвечайте на мои вопросы.

— Ничего подобного не было.— Хотя, подумал Моррисон, в последнее время отношения между ними испортились.

— У вас один ребенок?

— Да. Его зовут Элвин, он в частной школе.

— В какой?

— Этого я вам не скажу,— угрюмо выдавил Моррисон.

— Хорошо,— любезно согласился Донатти и обезоруживающе улыбнулся.— Завтра на первом сеансе курса я отвечу на все ваши вопросы. Сегодня можете курить. С завтрашнего дня вы не выкурите ни одной сигареты. Это мы вам гарантируем.

На следующий день, ровно в три, Донатти ждал его, он пожал Моррисону руку и улыбнулся хищной улыбкой:

— Рад, что вы пришли. Многие перспективные клиенты не приходят после первого разговора. Мне доставит большое удовольствие работать с вами. У вас есть сигареты?

— Да.

— Давайте их сюда.

Пожав плечами, Моррисон отдал Донатти пачку. В ней все равно оставалось две или три сигареты.

Донатти положил пачку на стол и начал бить по ней кулаком. Удары громко отдавались в комнате. В конце концов стук прекратился. Донатти взял то, что осталось от пачки, и выбросил в мусорную корзину.

— Вы не представляете себе, какое я получаю удовольствие от этого все три года, что работаю здесь.

— В вестибюле здания есть киоск, где можно купить любые сигареты,— мягко сказал Моррисон.

— Совершенно верно. Ваш сын, Элвин Доус Моррисон, находится в Пэтерсоновской школе для умственно отсталых детей. Он родился с травмой мозга и никогда не станет нормальным. Ваша жена...

— Как вы это узнали? — пролаял Моррисон.— Какое вы имеете право...

— Мы многое знаем о вас, но, как я говорил, все останется в тайне.

— Я ухожу,— с трудом сказал Моррисон и поднялся.

— Посидите еще.

Моррисон внимательно посмотрел на Донатти — тот был спокоен. Казалось, что происходящее даже забавляет его, и он наблюдал подобные сцены сотни раз.

— Объясните мне, что это за курс лечения? — спросил Моррисон.

— Одну минутку. Подойдите, пожалуйста, сюда.— Донатти встал и отодвинул зеленую занавеску, которую Моррисон заметил еще накануне. За прямоугольным окошком — пустая комната. Правда, на полу кролик ел из миски хлебные шарики.

— Красивый кролик,— заметил Моррисон.

— Конечно. Понаблюдайте за ним.

Донатти нажал кнопку — кролик прекратил есть и запрыгал как сумасшедший. Когда он касался пола, казалось, его подбрасывало еще выше, шерсть встала дыбом, глаза были дикими.

— Прекратите! Вы же убьете его током!

Донатти отпустил кнопку.

— Ну что вы, это очень слабый заряд. Посмотрите на кролика. Если бить его током, когда он ест, животное быстро свяжет эти ощущения: еда — боль. Тряхнуть его током еще несколько раз — кролик умрет от голода перед миской с едой.

Тут Моррисона осенило — он пошел к двери.

— Не надо, большое спасибо.

Дверь оказалась заперта.

— Присядьте, мистер Моррисон.

— Отоприте дверь, или я вызову полицию быстрее, чем вы успеете сказать «Курите!».

— Сядьте.— Это было сказано жутким ледяным тоном.

Моррисон посмотрел на Донатти, заглянул в его страшные затуманенные карие глаза и подумал: «Господи, я же заперт в комнате с психом». Никогда в жизни ему так не хотелось курить.

— Я подробнее расскажу вам о курсе лечения,— сказал Донатти.

— Вы не понимаете,— возразил Моррисон с деланным спокойствием.— Мне не нужен ваш курс.

— Нет, мистер Моррисон, это вы не понимаете. У вас уже нет выбора. Я не обманул вас, когда сказал, что курс лечения начался. Мне казалось, вы все поняли.

— Вы сумасшедший?

— Нет, я деловой человек. Курс лечения...

— Валяйте,— бросил Моррисон.— Только поймите: как только я отсюда выйду, я куплю пять пачек сигарет и выкурю их по дороге в полицию.— Он внезапно заметил, что грызет ноготь большого пальца.

— Как вам будет угодно. Но, мне кажется, вы передумаете, когда я вам все объясню. В первый месяц наши люди будут следить за вами. Вы заметите некоторых, но не всех. За вами будут следить постоянно. Если они увидят, как вы закурили, то сообщат об этом.

— И меня привезут сюда, и посадят вместо кролика.— Моррисон пытался говорить с сарказмом, но неожиданно ощутил дикий страх.

— Нет,— ответил Донатти.— Вместо кролика посадят вашу жену.

Моррисон тупо посмотрел на него.

Донатти улыбнулся.

— А вы будете смотреть в окошко.

По словам Донатти, корпорацию «Бросайте курить» основал человек, изображенный на картине, который чрезвычайно успешно занимался традиционными делами своей «семьи» [1] — игральными автоматами, подпольной лотереей, торговлей наркотиками. Морт Минелли по кличке Трехпалый был заядлым курильщиком — выкуривал по три пачки в день. Листок бумаги, который он держит в руке на картине,— окончательный диагноз врача: рак легких. Морт умер в 1970 году, передав все деньги «семьи» корпорации «Бросайте курить».

Курс лечения оказался до ужаса прост. Первое нарушение — и Синди привозят, как выразился Донатти, в «крольчатник». Второе нарушение — и там оказывается сам Моррисон. Третье — током бьют их обоих вместе. Четвертое влечет за собой более суровое наказание: в школу к Элвину придет человек...

— Представьте себе,— улыбаясь, говорил Донатти,— как ужасно будет мальчику. Он не поймет никаких объяснений. До него только дойдет, что его больно бьют из-за того, что папа плохой. Поймите меня правильно: я уверен, этого не случится. К сорока процентам наших клиентов мы не применяем никаких дисциплинарных мер, и только десять процентов допускают три нарушения. Пятое нарушение — вас с женой в «крольчатник», вашего сына изобьют во второй раз, а жену в первый.

Не понимая, что он делает, Моррисон бросился через стол на Донатти. Тот, хотя и сидел в ленивой, расслабленной позе, действовал с удивительной быстротой: отодвинулся вместе со стулом назад и ударил Моррисона в живот ногами.

— Сядьте, мистер Моррисон,— благожелательно сказал он.— Поговорим как благоразумные люди.

Когда Моррисон отдышался, он сел на стул, как и просил Донатти.

Существует десять градаций наказаний, объяснял Донатти. Шестая, седьмая и восьмая провинность — сила тока возрастает, а избиения становятся все ужаснее. Когда Моррисон закурит в девятый раз, его сыну сломают обе руки.

— А в десятый раз? — пересохшими губами спросил Моррисон.

Донатти печально покачал головой.

— В этом случае мы сдаемся. Вы войдете в два процента клиентов, которых нам не удалось убедить.— Донатти открыл один из ящиков стола и достал «кольт-45» с глушителем.— Но даже эти два процента никогда не закурят. Мы это гарантируем.

— Что с тобой? — спросила жена.

— Вроде ничего... я бросил курить.

— Когда? Пять минут назад? — засмеялась она.

— С трех часов дня.

— Прекрасно. Почему ты решил бросить курить?

— Я должен думать о тебе... и об Элвине.

Ее глаза расширились — Дик редко говорил о сыне.

— Я очень рада. Даже если ты снова закуришь, мы с Элвином благодарны тебе за заботу о нас.

— Я думаю, что больше курить не буду,— сказал он и вспомнил глаза Донатти, когда тот ударил его ногами в живот,— затуманенные глаза убийцы.

Ночью он спал плохо, а в три часа проснулся окончательно. Ему показалось, что у него жар, так ему хотелось закурить. Он спустился в кабинет, открыл верхний ящик стола, как завороженный уставился на коробку с сигаретами и облизнул губы.

Постоянная слежка в течение первого месяца, сказал Донатти. В течение последующих двух месяцев за ним будут следить восемнадцать часов в сутки. Четвертый месяц (именно тогда большинство клиентов закуривают) снова двадцать четыре часа в сутки. Затем до конца года по двенадцать часов в сутки. Потом? До конца его жизни слежка будет возобновляться.

ДО КОНЦА ЖИЗНИ...

— Мы можем проверять вас через каждый месяц,— сказал Донатти.— Или через день. Или через два года организуем круглосуточную недельную слежку. Вы об этом знать не будете.

Моррисон проклял себя за то, что влез в эту историю, проклял Донатти, а самые страшные проклятия послал Джимми Маккэнну. Подлец, ведь все знал! У Моррисона задрожали руки, так хотелось схватить за горло Джимми Маккэнна.

Моррисон взял сигарету. Что это за шорох в стенном шкафу? Конечно, показалось. А если в той комнате окажется Синди?

Он напряженно прислушивался, все тихо. Надо только подойти к стенному шкафу и распахнуть дверцу. Ему стало очень страшно при одной мысли, что может там оказаться. Моррисон лег в постель, но сон еще долго не приходил.

Сцены из жизни Ричарда Моррисона, октябрь—ноябрь:

...Моррисон встречает в баре «Джек Дэмпси» приятеля, тот предлагает ему закурить. Моррисон крепче сжимает в руке стакан.

— Я бросил.

Приятель смеется.

— Больше недели не продержишься.

...Моррисон ждет утреннюю электричку, смотрит на молодого человека в

[1] *«Семья» — организация мафии. Примеч. пер.*

синем костюме. Он видит его здесь почти каждое утро.

...Моррисон приезжает к сыну, привозит ему в подарок большой мяч, который пищит, если на него нажать. Слюнявый восторженный поцелуй Элвина почему-то не так противен, как раньше. Крепко обнимая сына, он понимает то, что Донатти и компания поняли раньше: любовь сильнее тяги к курению.

...И вот Моррисон застревает в туннеле, в гигантской автомобильной пробке. Темно. Рев клаксонов, вонь выхлопных газов, рычание неподвижных машин. Внезапно Моррисон открывает перчаточный ящик, видит пачку сигарет, достает одну и закуривает. Если что-то случится, Синди виновата сама, дерзко говорит он себе. Я же ее просил выкинуть все сигареты.

Первая затяжка – он кашляет как заведенный. От второй начинают слезиться глаза. Третья — у него кружится голова, он готов потерять сознание; жуткая штука, думает он. И сразу без перехода: боже мой, что я делаю?

Сзади загудели клаксоны. Он гасит сигарету в пепельнице и едет домой.

— Синди, это я,— позвал он.

Никто не ответил.

Зазвонил телефон, Моррисон поспешно схватил трубку:

— Синди? Ты где?

— Здравствуйте, мистер Моррисон,— раздался бодрый деловой голос Донатти.— Мне кажется, нам надо обсудить один вопрос. Вы сможете зайти к нам в пять?

— Моя жена у вас?

— Да, разумеется, – снисходительно роняет Донатти.

— Послушайте, отпустите ее,— сбивчиво бормочет Моррисон.— Это больше не повторится. Я затянулся всего три раза — это было ужасно, я не получил никакого удовольствия!

— Жаль. Значит, я могу рассчитывать, что вы придете в пять?

— Мистер Донатти, к вам пришел мистер Моррисон,— сказала в селектор секретарша и кивнула Моррисону.

— Проходите.

Донатти ждал его в коридоре вместе с гориллообразным человеком в майке с надписью «Улыбайтесь» и револьвером в руке.

— Послушайте,— сказал Моррисон,— мы же можем договориться. Я заплачу вам. Я...

— Заткнись,— отрезал гориллообразный.

— Рад вас видеть,— произнес Донатти.— Жаль, что это происходит при столь прискорбных обстоятельствах. Пройдемте со мной, будьте любезны. Сделаем все быстро. Будьте спокойны: с вашей женой ничего страшного не произойдет... в этот раз.

Моррисон напрягся и приготовился броситься на Донатти.

— Не вздумайте,— сказал тот обеспокоенно.— Если вы это сделаете, Костолом изобьет вас рукояткой револьвера, а жену все равно тряхнут током. Какая в этом выгода? Пойдемте.

Моррисон вошел в комнату первым. Зеленая занавеска отодвинута — за окошечком, ошеломленно озираясь, сидит на полу Синди.

— Синди,— жалобным голосом позвал Моррисон.— Они...

— Она не видит и не слышит вас,— объяснил Донатти.— Это зеркальное стекло. Ладно, давайте побыстрее с этим закончим. Провинность небольшая — тридцати секунд будет достаточно. Костолом!

Одной рукой Костолом нажал кнопку, другой упер дуло револьвера в спину Моррисона.

В его жизни это были самые долгие тридцать секунд.

Когда все закончилось, Донатти сказал:

— Пойдемте со мной. Вам придется кое-что объяснить жене.

— Как я могу смотреть ей в глаза? Что я ей скажу?

— Думаю, вас ожидает сюрприз.

В комнате, кроме дивана, ничего не было. На нем, беспомощно всхлипывая, лежала Синди.

— Дик,— прошептала она. Он обнял ее.— В дом пришли двое мужчин. Они завязали мне глаза, и... и... это было ужасно. Но почему?

— Из-за меня. Я должен тебе коечто рассказать, Синди...

Он закончил рассказ, помолчал и сказал:

— Я думаю, ты меня ненавидишь.

— Нет, Дик. Я не испытываю к тебе ненависти. Благослови господь этих людей. Они освободили тебя.

— Ты серьезно?

— Да,— сказала она и поцеловала его.— Поедем домой. Мне гораздо лучше. Не помню, когда мне было так хорошо.

Когда через неделю зазвонил телефон и Моррисон узнал голос Донатти, он сказал:

— Ваши люди ошиблись. Я даже в руки не брал сигарету.

— Мы знаем. Надо обсудить кое-что. Вы можете зайти завтра вечером? Ничего серьезного, просто для отчетности. Кстати, поздравляю с повышением по службе.

— Откуда вы это знаете?

— Мы ведем учет,— небрежно бросил Донатти и повесил трубку.

Когда они вошли в маленькую комнату, Донатти обратился к Моррисону:

— Что вы так нервничаете? Никто вас не укусит. Подойдите сюда.

Моррисон увидел обычные напольные весы.

— Послушайте, я немного потолстел, но...

— Да-да. Это происходит с семьюдесятью тремя процентами наших клиентов. Пожалуйста, встаньте на весы.

Моррисон весил семьдесят девять килограммов.

— Сойдите с весов. Какой у вас рост, мистер Моррисон?

— Метр семьдесят девять сантиметров.

— Посмотрим.— Донатти достал из нагрудного кармана маленькую карточку, закатанную в прозрачную пластмассу.— Совсем неплохо. Ваш максимальный вес будет... (он посмотрел на карточку) восемьдесят три килограмма. Сегодня первое декабря, значит, первого числа каждого месяца жду вас на взвешивание. Не можете прийти — ничего страшного, если, конечно, заранее позвоните.

— Что случится, если я буду весить больше восьмидесяти трех килограммов?

Донатти улыбнулся:

— Кто-то из наших людей придет к вам в дом и отрежет вашей жене мизинец на правой руке. Счастливо, мистер Моррисон, можете выйти через эту дверь.

Прошло восемь месяцев.

Моррисон снова встречает своего приятеля в баре «Джек Дэмпси». Моррисон, как гордо говорит Синди, в своей весовой категории — он весит семьдесят пять килограммов, три раза в неделю занимается спортом и великолепно выглядит. Приятель выглядит ужасно, хуже некуда.

Приятель:

— Как тебе удалось бросить курить? Я курю даже больше своей жены.— С этими словами он с настоящим отвращением тушит в пепельнице сигарету и допивает виски.

Моррисон оценивающе смотрит на него, достает из бумажника маленькую, белую визитную карточку и кладет ее на стойку.

— Знаешь,— говорит он,— эти люди изменили мою жизнь.

Прошел год.

Моррисон получает по почте счет:

КОРПОРАЦИЯ «БРОСАЙТЕ КУРИТЬ»
237 Ист, Сорок шестая улица
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10017

Курс лечения	2500 долларов
Услуги специалиста (Виктор Донатти)	2500 долларов
Электроэнергия	50 центов
ВСЕГО (просим заплатить)	5000 долларов 50 центов

— Сукины дети! — взрывается он.— Они включили в счет электричество, которым...

— Заплати,— говорит жена и целует его.

Прошло еще восемь месяцев.

Моррисон и Синди случайно встречают в театре Джимми Маккэнна с женой. Они знакомятся. Джимми выглядит так же, как и в аэропорту, если не лучше. Моррисон никогда раньше не встречался с его женой. Она красива, как бывают красивы обыкновенные женщины, когда они очень и очень счастливы.

Моррисон пожимает ей руку. У нее странное рукопожатие. Только в середине второго действия Моррисон понимает, почему у жены Маккэнна на правой руке нет мизинца.

Перевел с английского
Л. ВОЛОДАРСКИЙ



Павел ГРУШКО,
поэт и переводчик

БЫТЬ ОТСУТСТВУЯ,

ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ

В том, что художественный перевод искусство, не сомневались и древние. Что бы знал мир (во всем многообразии культур и языков) о себе самом, если бы не кропотливый, порою малозаметный труд переводчиков. В том числе и переводчиков поэзии. По существу, создание поэтического текста и поэтического перевода близко друг другу. Может последовать возражение: объектом поэтического наблюдения является весь внешний и внутренний мир человека, а поэтического перевода — лишь текст переводимого стихотворения. Это не так: переводящий только слова — плохой переводчик. Успех сопутствует тем, кто при переводе стихотворения способен увидеть отображенный стихотворением мир. А на это нужна поэтическая душа, надо быть поэтом, да еще владеть искусством перевоплощения. Да еще знать язык и страну языка. Да еще... Все эти «еще» трудно перечислить. Своеобразие искусства перевода порождало и порождает много отвлеченных сравнений и точных определений. На одном полюсе — образы, в том числе и великолепный — замечательного болгарского поэта Атанаса Далчева: «Художественный перевод напоминает мне окно, в котором образы улицы смешиваются с отражением предметов в комнате. Он столько же произведение автора, сколько и переводчика». На другом полюсе — формулы, как, например, эта: «оптимальный продукт семантической, стилистической и прагматической адекватности» (А. Швейцер).

И все же успех ожидает тех, кто, помимо одаренности и знаний, воспринимает дело поэтического перевода как судьбу. Подобно музыке, живописи, любому роду человеческой деятельности и творчества, поэтический перевод связан с постоянным, чуть ли не каждодневным трудом.

Что же это за труд?

Во-первых, выбор того, **что переводить.** Ведь никто никого не заставляет делать тот или иной перевод — дело это вольное. Обычно выбираешь стихи «на зависть», которые ты «присваиваешь» одним лишь прочтением, они — по тебе, и кажется, что ты сам мог бы их написать на родном языке. Тебе хочется поделиться этими стихами с друзьями, не умеющими читать на иностранном языке. В этом глубоко общественная сущность художественного перевода: никогда ведь ты не стал бы переводить только для себя — для себя достаточно и понимания оригинала. Но может быть и иное побуждение — культурного порядка,— желание открыть неизвестное в твоей стране имя или новую сторону уже известного поэта, а то и показать, что поэт этот совсем не такой, как его представляли до тебя, и, значит, перевести заново уже переводившиеся вещи. В этом нет ничего зазорного. Надо только знать предыдущие переводы и быть уверенным, что твой лучше или, по крайней мере, не хуже. Чем больше переводов одного и того же текста, тем полезнее для читателя. Ведь, по существу, перевод, даже очень хороший, менее объемен, нежели оригинал,— и «рассмотрение» оригинала с разных точек зрения разными переводами как бы дает эффект стереоскопии — объемности. В других случаях побуждением к переводу служит желание «сразиться» с трудной формой — сонетом, александрийским стихом, децимой или со свободным, безрифменным стихом верлибром. Все это и многое другое — поводы для перевода, влияющие на выбор, отбор материала для перевода, от чего во многом зависит успех дела.

И вот главный вопрос — **как переводить.**

В сущности, так же, как писать

стихи,— используя все богатство родного языка. Но только вот стихи, которые ты переводишь, все же не твои. Здесь важно владеть искусством перевоплощения, уметь тактично оставаться в тени (бывает, что в кукольном театре актер «в открытую» выводит куклу — и в то же время как бы невидим). Быть отсутствуя — искусство наисложнейшее! Порою неправильно понимается и расхожее высказывание о том, что хороший перевод должен быть «фактом русской поэзии». Фактами русской поэзии являются стихи русские. А ведь переводные стихи — стихи не русские. Конечно, большие наши поэты заимствовали темы, сюжеты и образы у иноязычных поэтов (естественно, указывая на источник) и считали такие стихи своими, не называя их переводами. Переводами они называли переводы. Переводчик, неверно понимающий этот тезис, изо всех сил старается сделать свои работы «фактами русской поэзии» («по дороге» освобождая стихи от всего, что кажется ему инородным). И понятно почему: создавать «факты русской поэзии» в переводе гораздо легче, нежели средствами нашего великого языка, не поступаясь ни его законами, ни его гибкостью, ни его музыкальностью, писать на русском языке стихи английские, турецкие, чешские. Именно этот талант перевоплощения, одновременного отсутствия и присутствия отличает работы моих горячо любимых сверстников — Марка Самаева (переводчика с испанского), Андрея Сергеева (с английского), Евгения Солоновича (с итальянского), Асара Эппеля (с польского).

Советская школа перевода — оптимистическая (в отличие от некоторых западных школ, похожих на Фому Неверующего): она предполагает возможным и необходимым воссоздание не только содержания, но и формы произведения. Ведь поэзия — это не только словесный материал и образы, но еще и некое магическое излучение,— в сущности, добыча этого излучения и есть главная, запредельная цель. Добыть это излучение (если только оно есть в оригинале) невероятно трудно. И здесь огромным подспорьем является форма поэтического текста: не столько рифмы и их «плетение» (переводчик со стажем, в общем-то, всегда техничен), сколько музыка, пластика словесного материала, такое сочетание нескольких с виду не сочетающихся слов, которые не только точно выявляют смысл, но еще и гармонично сопрягаются в неразъемную строку, строфу. Тут во многом помогает знание родной поэзии, вкус к слову, фразе. Наверно, переводы должны быть даже более естественны, нежели оригиналы: чрезмерно резкие средства, выспренний слог неизменно относятся читателями на счет бестактностей перевода. Что-то приходится ослаблять — всего в переводе передать нельзя. Перевод — борьба за приближение к тому же впечатлению, которое эти стихи производят в оригинале, и глупо было бы ставить самим себе подножки на этом трудном пути.

Говорю обо всем этом и боюсь создать впечатление, будто речь идет о неких непреложных законах. Нет, каждый должен действовать так, как считает нужным. Только надо понимать (если ты себе не враг), что существует традиция, тяжелый опыт предшественников, что выработан определенный вкус у читателей,— помнить: чувство эстафеты от века присуще мастерам.

Ну, что еще? Мир был бы стократ бедней, если бы люди жили обособленно (кое-кто мечтает об этом), не интересовались (бывает и такое) чужим опытом, чурались чужой культуры, поэзии. На фестивалях молодежи — в сжатом времени и пространстве — происходят чудесные всплески человеческого братства. Дело переводчиков художественной литературы — растянутый на годы и десятилетия, медленный, но великолепный и великий фестиваль человеческого единения!

ИТОГИ КОНКУРСА ПЕСНИ

В сентябрьском номере «Ровесника» за прошлый год мы предложили читателям принять участие в конкурсе на лучший перевод текстов песен зарубежных авторов, опубликованных на последней странице обложки.

Первой конкурсной публикацией — в № 9 за 1983 год — была песня, посвященная памяти Виктора Хары, «Если умолкнет певец». Мы получили десять вариантов ее перевода.

Следующей на конкурс (в № 10 за тот же год) была представлена песня из репертуара английского ансамбля «Клэш» «Знай свои права». Эта публикация оказалась самой «урожайной»: поступило более полусотни переводов.

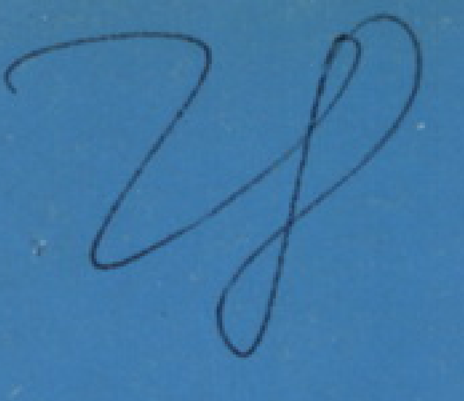
В № 1 за 1984 год мы предложили песню Джексона Каужеуа «Семена века»: двадцать два варианта.

И наконец, на опубликованную в № 4 за этот год песню коллектива из ГДР «Вир» «И все-таки она вертится» откликнулись тридцать шесть читателей.

Нас радует и количество полученных переводов, и «география» конкурса. Читатели из больших городов, из самых дальних уголков нашей страны продемонстрировали не только хорошее знание иностранных языков, но, самое главное, то, что отличает молодого гражданина СССР: гнев по отношению к тем, кто угрожает миру на планете. Солидарность с теми, кто борется за независимость своей родины. Понимание проблем, которые стоят перед молодыми людьми в мире капитала, в мире бесправия. Боль, потому что от рук палачей гибнут прекраснейшие люди нашей земли. Это и есть самый важный итог конкурса.

Как вы, наверное, помните, редакция обещала в последнем номере года назвать имена победителей и опубликовать лучшие переводы. Неплохо справились с переводом песни «Если умолкнет певец» москвичи С. Гаркуша и М. Евстафьев; наиболее интересные варианты русского текста песни «Знай свои права» прислали В. Соболев из города Волжского, А. Козлов из подмосковного города Пушкино, А. Чириманов из Катова Горьковской области; московская студентка Н. Андреанова лучше других перевела песню «Семена века», но... К сожалению, даже эти работы для публикации в журнале не подходят: еще очень чувствуется недостаток мастерства, некоторые из присланных переводов, свидетельствуя о знании литературных правил, увы, «не ложились» на музыку... Однако ни организаторам конкурса, ни его участникам огорчаться не стоит. Сделан первый шаг, накоплен первый опыт. И наверное, появились новые энтузиасты интереснейшего и сложнейшего дела — перевода. Редакция от души желает им успеха и верит, что многие из них рано или поздно добьются почетного права познакомить советских читателей со страниц журнала или книги с лучшими произведениями зарубежных авторов.

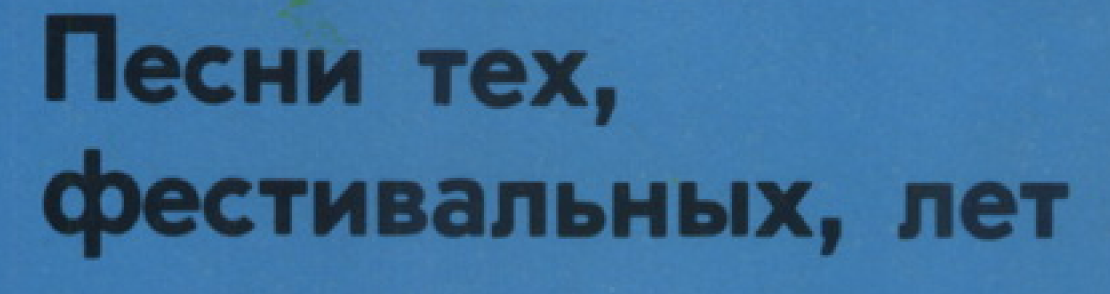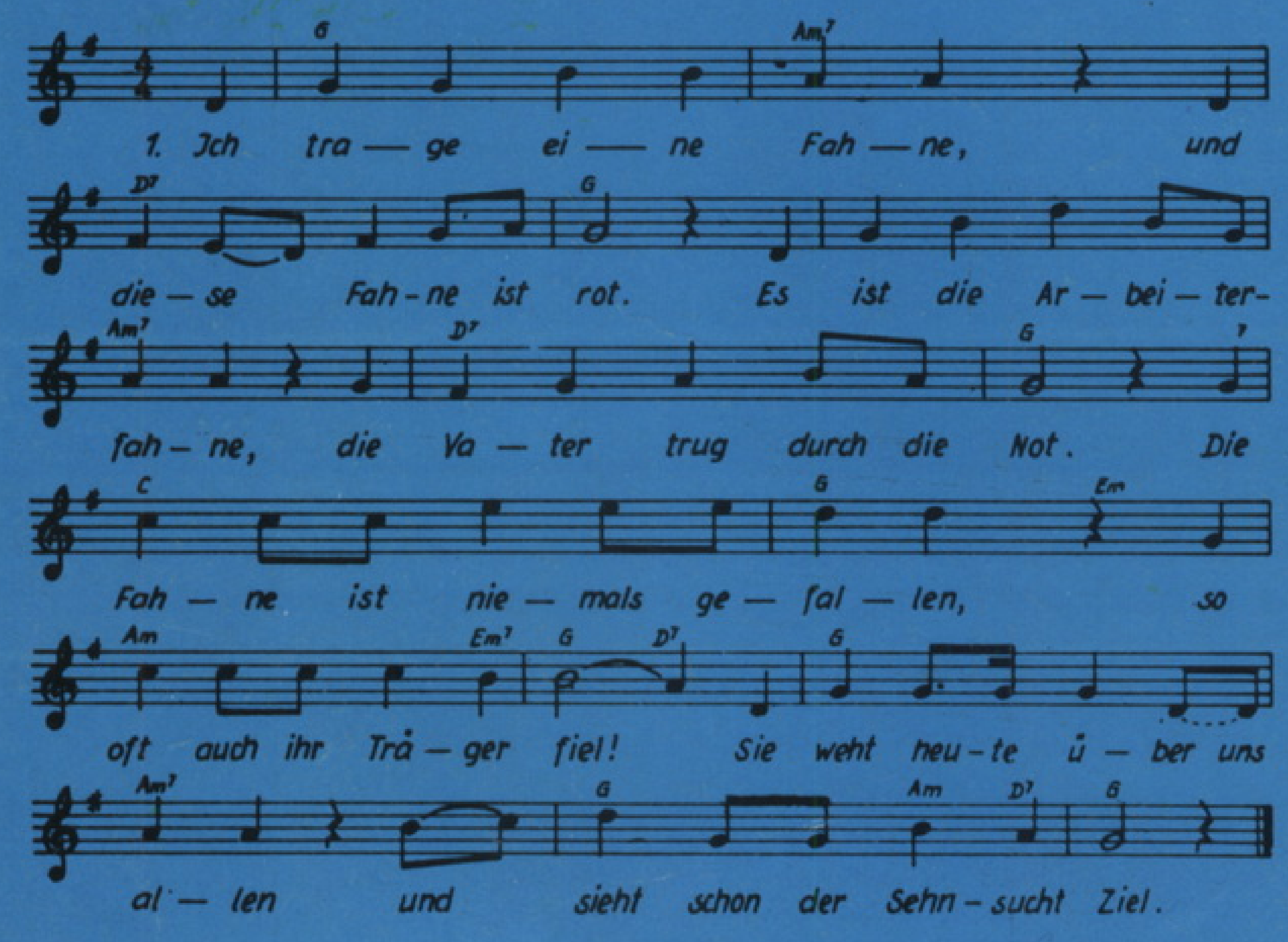








Со всех концов нашей планеты в адрес Международного подготовительного комитета XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве продолжают идти письма, плакаты, рисунки, авторы которых стремятся выразить свое единство с идеями фестиваля. Перед вами еще один вариант эмблемы мира, дружбы и солидарности.



Ich trage eine Fahne

Text: Helmuth Hauptmann — Musik: Eberhard Schmidt



«Я несу знамя, красное знамя, знамя рабочих. Его передал мне отец. Это знамя пронес он сквозь ночь, сквозь войны. И знамя никогда не падало, даже если убивали знаменосца. И вот теперь оно в наших руках, и мы будем сражаться за него».

Песня о красном знамени, которую написали поэт Хельмут Хауптман и композитор Эберхард Шмидт, уже давно входит в репертуар детских и молодежных хоров Германской Демократической Республики. Посланцы ГДР исполняли ее на многих Всемирных фестивалях молодежи и студентов. Будут петь ее и на XII Московском.

2. Ich trage eine Fahne,
das Rot der Arbeitermacht.
Es hat die Arbeiterfahne
bei Nacht mein Vater bewacht.
Und hat sie mir früh übergeben,
als Morgenrot stieg empor,
daß wir sie zur Sonne heben
bei Tag, den der Kampf beschwor.

3. Ich trage eine Fahne,
und diese Fahne ist rot.
Es ist die Arbeiterfahne,
die uns die Einheit gebot.
Sie hat unsere Väter begleitet
durch Hader und Nacht und Krieg.
Drum vorwärts, ihr Söhne, erstreitet
zu Ende den großen Sieg.

Главный редактор А. А. НОДИЯ

Художественный редактор Е. А. Гричук
Оформление И. М. Неждановой
Технический редактор Н. А. Строева

Адрес редакции: 125015, Москва, ГСП, Новодмитровская ул., 5а. Телефон 285-89-20. Перепечатка материалов разрешается только со ссылкой на ежемесячник.

Сдано в набор 10.10.84. Подп. к печ. 28.11.84. А15154. Формат 84×108 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,36. Усл. кр.-отт. 13,4. Уч.-изд. л. 5,9. Тираж 1 100 000 экз. Цена 35 коп. Заказ 1846.

Издательство и типография «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сущевская ул., 21.

Индекс 70781
Цена 35 коп.